



Юрий Николаевич Тынянов

Пушкин. Кюхля

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181798

*Пушкин. Кюхля: АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига; Спб.; Москва; 2005
ISBN 5-17-024161-5, 5-9713-0086-5, 5-9578-0935-7*

Аннотация

«Пушкин» и «Кюхля».

Жемчужины творчества Юрия Тынянова.

Перед читателем раскрываются образы величайшего русскою поэта и его товарищей по Царскосельскому лицу, оживают "золотой век" отечественной литературы и противоречивая эпоха декабристов – людей, которых потом называли цветом русской интеллигенции...

Возможно, все было по-другому.

Но когда читаешь Тынянова, хочется верить, что все было именно так.

Содержание

Пушкин	5
Часть первая	5
Глава первая	5
1	5
2	6
3	7
4	9
5	11
6	16
7	21
8	22
Глава вторая	24
1	24
2	25
3	26
4	28
5	30
6	30
Глава третья	33
1	33
2	34
3	36
Глава четвертая	38
1	38
2	41
3	42
4	43
5	43
6	45
7	45
8	46
9	47
10	47
11	48
Глава пятая	49
1	49
2	51
3	53
4	54
5	56
6	57
7	60
8	61
Глава шестая	62
1	62
2	62

3	65
Глава седьмая	66
1	66
2	69
3	70
4	72
5	73
6	74
Глава восьмая	77
1	77
2	80
3	82
4	84
5	86
Глава девятая	95
1	95
2	99
3	101
4	101
5	103
Глава десятая	104
1	104
2	105
3	107
Часть вторая	109
Глава первая	109
1	109
2	111
3	114
4	119
5	121
6	125
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Юрий Тынянов

Пушкин. Кюхля

Пушкин

Часть первая

Детство

Глава первая

1

Маиор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

– Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

– Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, маиор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Маиор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и – грязь. Дожда давно не было, а грязь все лежала – комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю – местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот маиор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких ворот и добрался до Охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну «Сен-Пере» и две «Лафита»,

он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

– Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну конечно, не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутюшника спроси.

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

2

Гвардии майор, или, вернее, – капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя: гвардии майор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул бореи» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем в кригс-комиссариатском сертуке, майор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку, так же как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единородный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единородного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала – не без яду, – что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял – ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *бельэспри*,¹ Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литературская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? – Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапкою.

Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей отец бросил ее с матерью в самых ранних летах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядя, генерал-цейх-

¹ Остроумец (от фр. *bel esprit*).

мейстер Аннибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяйина. Да и отец их, арап, тоже не был камердинером, а скорее всего другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое сельцо в Псковской губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия – он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки; притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное, он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрино, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью – он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина – и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил – они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая с канарейкой, но образ жизни круто переменялся. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить куртаг,² как говорили гвардейцы, – скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятю родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, недалеко от которого была усадьба ее отца и в котором она жила баришнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен

² Прием (от нем. Courtage).

– горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц – купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и перебралась с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж – хоть и злодей – морской артиллерист, и она чувствовала себя военною дамою. Житье было походное: зорю быют – вставать, горнист – к обеду. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них – для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятево хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня невелика, но распушена и отбилась от рук. Повар Николашка – пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни – испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ – легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод: равнодушные и леность, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом – вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

– Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизанька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизанька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя; Марья Алексеевна делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их майор, – не бегают со двора. Не франтоват, да мил – ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде – а-ля Каракалла. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет (далеко за тридцать – говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны, безделки и ничего боле. Перышки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

– Вздоры, – говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости – эфемер, – явился на этот раз во всем великолепии: прическа а-ля Дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру – Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которою он тщеславился более, чем своим титулом поэта, своею родословною, коляскою, – неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему.

– Mon ange,³ mon ange, – пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, – покройте плечи, ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, щурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное, и в гвардии ее звали «Цырцея», но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо – зелено, погулять велено», – говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

– Надежда сейчас выйдет, – сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадам Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт.

³ Мой ангел (фр.).

Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пьесе своей собственной – прекрасно, – граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, ривалите,⁴ и из армии приезжает добрый муж, сам граф, – все захлопали, когда он вышел, – и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неописуемо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, – след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебежал с белых плеч своей Цырцеи на смуглые – невестки.

Он все хотел сказать комплимент и наконец сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных – таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощей.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казненного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла, или, как говорили военные, – на хлебах.

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улынулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки.⁵ Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

– Хаханьки! – и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

– Как щегольство сейчас не в милости, – сказал он тихо, – я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

– Никишка, – сказал он торопливо, – вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай.

⁴ Соперничество (от фр. rivalite).

⁵ В дурочки (от фр. la bête).

Он заботливо обдернул кружевные манжеты на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

– Балладу не забыл? Всю помнишь?

– Помню-с, – ответил камердинер Никита, – своего, чай, сочинения, не чужого.

Камердинер Никита был сочинитель; недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитой. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятною беседой. Под липой, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых желтых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды – все вдруг вспомнили это, как утраченное детство и как бы впервые открыв существование природы. Даже участь мещанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке в бурачке розовый бальзамин – как старые поэты не замечали прелести такого существования! Они пристрастились к войне, пожарам натуры и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливы, потому что грубые краски напоминали все, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как угол перед камином зимою, был для всех приятным местом, вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу *jeux de societe*⁶ – игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акrostихи, что даже развивало стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марью Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«...И ряд зубов жемчужный», – подумал чьими-то стихами Василий Львович, – у Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше.

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом – полное снисхождение к женскому полу – он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камер-

⁶ Салонные игры (фр.).

динеры да les outchiteli. Некоторые из них были забавны. Теперь же благодаря перевороту прибыли, спасаясь, люди настоящего благородства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним попривыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутаны. Царь в последнее время стал скупиться и упрямиться, и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф, собственно, собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется – живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по некоторым признакам, заключил, что граф будет просить взаймы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года – возраст угасания.

Время нравиться прошло,
А пленяться, не пленяя,
И пылать, не воспаляя,
Есть дурное ремесло.

Морщин еще не было, но на лице, удлинённом, белом, появился у него холод. Несмотря на шутливость, несмотря на ласковость к щекотуньям, как называл он молоденьких, – видно было, что он многое изведal. Мир разрушался; везде в России – уродства, горшие порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзьям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Все – не что иное, как безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капрами, нимало не разумевшими изящного.

И его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: мои нижегородские друзья – у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде, в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (a la jacobin⁷) и фраки, но женщины уцелели – и высокая талия перенята у вольных французов. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем жил и на что надеялся все эти дни, – о поездке в Карльсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карльсбаде.

⁷ Наподобие якобинских (фр.).

– Боже, – сказал он, – представляю себе счастливый климат Хили, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные деревья, и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простоудию и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе. И если бы за него предложили десять или пятнадцать тысяч, – Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхолью, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились *petis jeux*,⁸ играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: *nouveaute – repeter*,⁹ *avis – esprit*.¹⁰

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василия Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все невольно захлопали его катреню.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, оттенив выпуклости рук и ног, мелко завив волосы и означив ямки на щеках.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало;
Там любви и не бывало;
Там любовь — одни слова,

на глазную повязку —

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

⁸ Игры (фр.).

⁹ Новшество– повторять (фр.).

¹⁰ Мнение– разум (фр.)

Награда скромности готова:
Будь счастлив – но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стонроне, у известной сводни Панкратьевны, – он любил простонародный тон в любви, – но при всем этом старался соблюсти самую строгую тайну и был скромен. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие, высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

– Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокошующий на «р». Сергей Львович слушал, скосив глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в весельи летай!

Николай Михайлович был растроган до слез. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

– Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, – сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал ведро. Сестрица Аннет сказала:

– Ну в точности Оссиан!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну – Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей – поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных ворот, вокруг домика садик – все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды.

Все, как по уговору, стали чокаются с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

– Друзья, – сказал Карамзин, – Гораций прославил Тиволи, а я пью за Красные ворота и за Самарову гору!

Самарову гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы он в особенности любил, здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил – если не удастся за границу – здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан-Жака.

И после этой легкой грусти захотелось просто душить.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы – старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался. Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

Погас, пустил приятный
Вкруг запах ты...

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

– Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, – тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем.

– Вы старый бригадир, разбойник с галеры, – сказал он ему.

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» – было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые он даже был неспособен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени – самый сладостный для поэта упрек, – напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он побоялся. В шкапу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубоности или похабства – их он хранил только потому, что редки, – но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымящим и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже: «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петя зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье:

– Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромыхала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

– Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамыч Аннибал.

6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленый допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

– Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... – Он метнул глазами по гостям. – А как я здесь проездом, долгом почел, – он поклонился Марье Алексеевне, – вас, сударыня сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, – отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, – а внука своего... поглядеть и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

– Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако ж, оказался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицею из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счета; по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком селце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоеженец брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с жениной роднею в

присутствии лиц, мнением которых дорожил. *La belle creole*¹¹ была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа-дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил, в сущности, сегодняшний куртаг, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

– Может статься, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

– Что ж, садись, Петр Абрамыч.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

– Благодарю, сударыня сестрица, – сказал он нежно, и женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

Надежда Осиповна подошла к дяде.

– Какая стала, – сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. – От отца зов, приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, – отнесся он к Сергею Львовичу. – Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал: старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем – быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

– Тоже, посол явился, – и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович попробовал вкус водки.

– Я, сударыня сестрица, – сказал он Марье Алексеевне, – настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо; внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлобья комнату.

– Флигель теплый ли? – спросил он и, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке: – Как нарекли?

Он был скор в переходах.

¹¹ Прекрасная креолка (фр.)

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

– Великолепное имя, – сказал он. – Два величайших полководца, сударыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич – Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

– Имя дано более по фамильной памяти, – сказал неохотно Сергей Львович, – по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он – прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, – добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлобья и выпил рюмку полынной.

– Не припомню, сударь, – сказал он, – деда вашего, не знал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, – отрывисто и нелюбезно.

– Ан нет, – сказал он вдруг с хрипотой, – и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал – Александр Петрович. Жenu не у него ли, сударыня сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, – решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам и по сухости, верткости действительно старик напоминал какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно – видно, что это было ему в привычку.

– Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, – сказал он с достоинством, – и точно ездил, а путешественником николи не был. А теперь, как открылась дальняя война, на чужой кошт, то бесприменно буду проситься в дальные края... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться – он был автор «Писем русского путешественника», – и если б можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

– Что так захотелось, – спросила она, – в дальные-то края? Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не выдав, и даже более, чем свою разлучницу.

– Я, сударыня сестрица, – сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, – тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

– Какого это княжества? – опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

– Арапского, – терпеливо сказал генерал-майор и метнул глазками в Карамзина, – в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество по всему быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

– Не слыхивала, – сказала Марья Алексеевна, – про губернатора. Что ж, Петинька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел, ни братцы?

– Я, сударыня сестрица, занят был, – сказал Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, – на государственной службе был занят, – повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, – и не мог тятенькина княжества сыскать. То же и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба арапа была презанимательная.

– Жизнь батюшки вашего необыкновенна, – сказал он учтиво. – Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину.

– У меня, сударь, ничего нет, – сказал он опасливо, – да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-майора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

– Правда ли, Кутайсов уезжает?

«Уезжает» означало – впадает в немилость.

Кутайсов был пленный турка, дареный цирюльник, а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

– Напротив того, – отвечал с удовольствием Сонцев, – кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.

Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

– Кутайсов, – сказал он сипло, – камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

– Батюшка мой, – сказал брыкливо старик, – сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагладен и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью.

Он пил теперь непрерывно – стакан за стаканом, и бутыл с настойкою пустела.

– Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

– Жадный, – сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

– Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, – сказал он невестке, – а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем – прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:

– Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуазии¹² у него было поболее, чем у вас, Петинька. Он *улыбаться* умел, – сказала она значительно.

¹² Учтивости (от фр. courtoisie).

Петр Абрамович загляделся на невестку.

– Эх, сердце золотое, – сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

– Лучше, лучше был, и зубы белее, – махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли?

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы маиоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою рефутацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца аптекаря прочли ее и вытвердили.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперевы стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подозрной морской трубою знамена, а надо всем – сова – ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

Император Петр, – говорилось в рефутации, – желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат – Neger,¹³ Mohren¹⁴ – употребляли все дворы как рабов, – писал немец, – а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример – полагал император – лучше запомнится всей знати – Ritterschaft und Adel,¹⁵ – которая ленилась и Петру противилась. О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим – или же Авраам – был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.

Он совершенно разочаровал Карамзина.

Знаменитый арап был креатурой императора – чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.

К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера.

Теперь генерал-маиор был вполне пьян.

– Как звать? – спросил он отрывисто Никиту.

– Никитой, сударь.

– Ты, Никишка, плох, – сказал генерал-маиор, – вот у меня Гришка мой с гусяром поет – в масть и цвет! В дрожь приводит! Слезы! Сердце золотое! А ты – слова в нос произносишь. Ты плох.

Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.

Самарова гора, приют друзей сердца, московский английский home,¹⁶ сельское одиночество – все разом пропало.

Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры – не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик – разрушили все милые обманы.

¹³ Негров (нем.).

¹⁴ Мавров (нем.).

¹⁵ Рыцарству и дворянству (нем.).

¹⁶ Домашний очаг (англ.).

Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего двора, будущность была темна для Карамзина.

Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить займы.

Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.

Всю жизнь старался быть как все и чтоб все было как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бюрлескный¹⁷ тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.

Старый арап поднялся – и вдруг двинулся к лестнице – к антресолям.

– Мне внука поглядеть, – бормотал он, – и ничего боле. Внук-ат, он где?

Марья Алексеевна загородила ему дорогу.

– Не пушу, – сказала она со страхом и злостью. – Спит ребенок, не прибрано.

Арап отступил.

Глазки его тускло посмотрели на невестку.

– Деда? – прохрипел он. – Дядю? Крестик привез! От деда.

Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.

Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца – и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку – он отскочил от нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.

Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.

Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.

Тогда Марья Алексеевна отступилась.

Она села у камина и отвела глаза.

– Внука, – сказала она, – тоже, дед нашелся...

И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, – как тогда в молодости, когда ирод ее тиранил.

7

Гости не знали, оставаться или уходить.

Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы щурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.

Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.

Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.

Но и на самом деле ни спора, ни ссоры, в сущности, не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный

¹⁷ Шутовской, смехотворный (от фр. burlesque).

для Марьи Алексеевны шум, свар, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.

Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.

– Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна – сказала Елизавета Львовна, – стоит ли тревожить себя, душенька!

Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.

Аннет сжала украдкой руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.

8

Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них гляделась луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были *пустодомы*.

Маленькая девочка присела перед арапом.

– Это кто? – спросил он изумленный.

– Ольга Сергеевна, батюшка, – сказала нянька, кланяясь. – Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.

Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.

– Здравствуй, – сказал арап, – как звать?

В детской он присмирел, винные пары рассеивались.

– Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.

Арина говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.

– Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.

Сергей Львович подрос.

Арап наклонился над ребенком.

– Тише, mon oncle,¹⁸ – сказала глухо Надежда Осиповна, – спит.

– Не спит, – сказал арап.

Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного.

Арап всматривался в него.

– Белобрыс, – сказал он.

Он посмотрел еще.

– Кулер белесоватый.

Ребенок задвигался, смотря мимо всех.

– Расцелуйте его в прах! – закричал арап. – Честное аннибалское слово – львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!

Сергей Львович выступил. Пьяный арап распоряжался у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик «Пади!» и калмыка с арапом в красных

¹⁸ Дядя (фр.).

ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.

Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонком его сына.

– Милостивый государь, – сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, – не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца... отцу... Смею думать, сын мой не... львенок... и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, – когда оно хорошее, – добавил он строго, – но согласитесь, что сын мой... что отец, как я...

Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.

Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.

Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.

– Уронишь, – сказала она, отстраняя старика рукой, – прочь от ребенка, ироды.

Она стала качать мальчика, который наконец заплакал.

Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение – схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке.

– Как я... как ты! – захрипел он, и было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке. – Ты кто таков? Ты, сударь, – фыють!.. – свистнул он. – Свистун ты! А я – Аннибал. Вот мое племя!

Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.

Сергей Львович побледнел.

– Не кричите, *mon oncle*, – сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, – спит ребенок. Я кричать не позволю.

– На девку свою кричи, – тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.

Арап попятился.

Губы у него прыгали и не находили слова.

– Пушкиных... забываю! – закричал он, сжав кулачки. – Прах отрясаю! – Он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице.

Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.

Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, остроносым; шмыгнула носом и прошла, тряся головой, куда-то.

Сергей Львович, все еще бледный, выпятив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гости не было.

Марья Алексеевна присела у окошка.

– Тоже, посол явился, – сказала она негромко, – дед.

Она трудно дышала. Голова ее качалась.

Генерал-майор шествовал через двор стремительно, неверными шагами.

Колымага ждала его.

– Дед, вишь, – сказала Марья Алексеевна, – сам еле ноги волочит. Горе мое!

А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.

– Я готов всем жертвовать спокойствию, – говорил он, положив руку на сердце, – готов все стерпеть, и не в моем характере, друг мой... Но уж если меня затронут, и притом – где? – в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим... *vieux raifort*.¹⁹

Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел.

¹⁹ Старым хреном (фр.).

Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благородное негодование и вслушалась.

– Подите вон, – сказала она глухо.

И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты.

Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял, за что.

– Выгнали дядю-то, – говорила шепотом в людской Арина, – надо быть, больше не приедет. Все кричал: мы, Аннибаловы! Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд вострый – беда!

– Пьяный приехал, – объяснял Никита, – характер у них непереносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!

Глава вторая

1

Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург – продавать свой домик в Измайловском полку («дворня все в пустоту приведет – знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность – он любил дорогу.

Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.

Недолго думая Пушкины переехали всей семьей в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и теще устраиваться на новом месте.

Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слез, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.

Ничуть не бывало.

Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье – и только через минуту улыбнулся долгой, бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почернелой от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой – тесть с утра кушал водку.

Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почернелое от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость – «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошелками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.

– Как хороши, – сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы – зубами.

Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, с двигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со стразовыми пуговками, был засален.

В последний день он повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений, три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покровилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка, и странное довольство тишиною тестевых владений.

– Как море, – сказал он тестю, глядя на озеро.

Он никогда не видел моря. Арап посмотрел на него, не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.

– Все вам оставляю.

Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкой. Господский дом, который по рассказам Марьи Алексеевны был велик и хорош, – крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник – и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно – и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные, бледные льны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.

– Хороший нынче урожай, – сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.

В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и видимо угасает, усадьба же запущена.

Теперь настала зима, а они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.

Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором.

Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.

2

Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, – о всех предметах, попадавшихся навстречу.

– Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеевич, какой солдат... Шапочка медная... на солнце блестит... а под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастете и сами такую наденете.

Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на преображенском солдате, шедшем по улице.

– А вот, батюшка Александр Сергеевич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапону-то на уши да покрепче нахлобучьте, мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки. Да.

Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.

– Тетка, – сказал один негромко, когда нянька поравнялась, – по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?

– Без вас, без охальников, обойдуся, – сказала ровно Арина.

Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.

– Ай-ай, какие лошадушки – на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, – пела Арина, – и шапочки бахарские, а ребятушки бородатые.

Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.

– Ай-ай, какой дяденька генерал едут. Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звоночком позванивает, и уздечку подергивает.

Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.

– Сердится дяденька, вишь как сердится.

И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.

– Шапку, – сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.

Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.

– Пади!

– На колени!

– Картуз! Дура!

Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.

Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.

Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку.

Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.

– Ду-ура, – сказал он, прижимая обе руки к груди. – Ведь это император! Дура!

– Охти, тошно мне, – сказала Арина, – он и есть.

Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедля скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.

Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув:

– Снять картуз! Я вас! – вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра – и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.

– Первая встреча моего сына с сувереном, – сказал он с поклоном и развел руками.

Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить: Петербург и Москва.

3

Через месяц после того как Сергей Львович спасся с семьей в Москву и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, – произошла смерть императора Павла.

Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро – чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почтой. Потом стали приходить подробности, и все оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы

и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обер-шталмейстер! Москва стремилась в несколько дней наверстать великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущие вместе. Балы шли беспрерывно.

Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная.

– На охоту ездить – собак кормить.

Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, щурясь, оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.

На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.

Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.

Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, все перепуталось – и старая знать, и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.

Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам, он отправлялся в Охотный ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабы, в глаз – томный ли, смотрели: перо бледное или красное, приноживались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.

Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько утомилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же удрать такую дичь – переехать со всюю семьею (и не без трудностей – сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось, он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.

Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.

Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет – невеста. Иван

Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:

– Никогда и не думал. Приснилось ей.

Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же втихомолку думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку – вполне невинная шалость.

В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:

Мне моркотно, молоденьке,
Нигде места не найду.

К обеду или к вечеру, если обедал не дома – домашние обеды были довольно скаредные, – он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, *bon-mots*²⁰ и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе, в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, все по тому же проклятому комиссариатскому штату, еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, веньтэнь, макао и новомодные: штос, три и три. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.

4

Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьею к матушке Ольге Васильевне, которая жила в Огородной слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.

²⁰ Остроты (фр.)

В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.

Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, заслышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползло со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:

– Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.

Законным царем она считала Петра III и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:

– И матушка и батюшка!

Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет! Это все кончилось. Сыновья – прыгуны.

Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала, как старшего в семье, и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит. О Сергее Львовиче она думала, что просвищется, и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.

– Что им в комнатах шуметь!

Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями: говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их:

– Се coquin de²¹ Кочубей, – говорил он.

Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе.

²¹ Этот мошенник (фр.).

– Аристократия его фальшивая, – сказал он, – а сам он батард,²² знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульливая полька, продалась французам – вот и все.

Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норовил в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.

Старуха щурила на него глаза. Она была побеждена.

Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Уляшке:

– Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у набольшего ихнего – как зовут, не упомяну, – тоже арапка в женах.

А Уляшка ей поддакивала:

– Все как один – нового захотели, свежинки

5

Они жили теперь в порядочном деревянном доме, Юсуповском, рядом с домом самого князя, большого туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд, видел, как суетился камердинер, открывали окна, несли вещи, и вслед за тем грузный человек с толстыми губами и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то раз заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на самый европейский манер. Вслед за тем он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду, когда захотят. Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал.

А управитель был в отчаянии от жильцов.

«Маиор господин Пушкин, – писал он в отчете князю, – что в среднем доме, как вперёд в мае месяце за месяц уплатил, так почитай уже с полгода ничего не платит, и я трижды заходил, прося уплатить, то велят говорить, что дома нет. И я, вашего сиятельства покорный слуга, прошу мне прислать указ, каково мне именно говорить с маиором Пушкиным или совсем от квартиры отказать».

Между тем у Сергея Львовича случилось горе: скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла.

Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший и более просторный дом неподалеку.

У Надежды Осиповны блестели глаза: она любила переезды. Управитель сам помогал возчикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.

6

Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задами и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображе-

²² Незаконнорожденный (от фр. *batard*).

ния. Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад, пространством более чем на десятину.

Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость; неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в большей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный Западом москвич шел по версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особою стройною походкой вокруг круглого пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в ней выпуклой, и, спустясь через час все той же походкой к себе в Огородники, он некоторое время воображал себя прекрасным и только потом, заслышав: «Пироги! Пироги!» или повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль и он не француз.

Сад был открыт для няньки Арины с барчуками.

Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтоб барчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду.

– И не шелохнется, – говорила она, – в такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая.

Барчук не хотел смотреть на рыбу, он исподлобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это – Диана, а в другой раз, что это – нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит.

– Тьфу! – огорчалась Арина и тихонько сплевывала. – Может, батюшка, побегаετε округ пруда?

Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана сырым желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода.

– Что твоя мельница, – говорила, улыбаясь, Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным.

– Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич, – говорила она таинственно, – всегда любят, чтоб вода вот так в саду текла.

Он убегал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу.

Он убегал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками, мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался – начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине.

Лето было душливое; Москва, как Самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутемным комнатам: днем запирались ставни.

Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповом саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже самую жару.

Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали. Арина проснулась. Бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд.

Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение. Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался. Глубоко, протяжно дышала Арина, словно пела. Потом слышались за дверью босые тяжелые шаги, словно шел крупный зверь: мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издали, она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул.

Пять дней в Москве стоял густой туман, и люди натывались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть, как достопримечательность. На Трубе оказалась яма в аршин шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит.

– Только что Николашке наказала пастет запекать, – села, вижу: стол, как студень, ходит, – говорила она, сама сомневаясь.

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гаданья. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала по вечерам, не торопясь.

Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение – явление мира физического. Но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, особливо Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, – как в Москве гроза летом. Тут же он некстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василии Темном, когда Москва сгорела дотла.

Физическое же объяснение еще более напугало и Марью Алексеевну и Надежду Осиповну: что это огонь теснит воздушные массы, заключенные, как в тюрьме, в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение – эхо другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою, в которых свирепствует воспаленный воздух. И что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время! Таково было местоположение всех городов на земле, в том числе и Москвы, с Неглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал, может пройти и три с половиной века до нового землетрясения – как от Василия Темного прошло, – а стало быть, на их жизнь хватит.

Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подожгут, что Николашка сегодня смотрел, как бригадир с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня – разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал.

На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона. Сергей Львович приказал отодрать его и лично распорядился в конюшне наказанием.

Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.

Глава третья

1

Сестрица Аннет не вышла замуж, матушка скончалась, произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василия Львовича, все в том же году. Жена покинула его, они разъехались.

Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, разъезжали непрестанно от Василия Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожее.

Василий Львович был растерян и потирал лоб.

Дважды при посторонних начинал рыдать; ему оказывали помощь, он тотчас охотно, долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии или недоумении.

Все рушилось.

– Первый раз в жизни случается, – говорил он простодушно.

Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны забыто и изгнано; она звалась: злодейка. Когда заходила о ней речь, Анна Львовна шикала и высылала вон детей, а Сергей Львович шурился значительно.

Из объяснений Василия Львовича, ахов, охов, всплесков, восклицаний и лепета – ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний: много ел, завивался и даже между слез сказал экспромт.

– Душа моя, душенька Basile, припомни, с чего началось, – просила его сестрица Анна Львовна.

И Василий Львович припомнил. Участились посещения кавалергарда князя В. – Василий Львович так и сказал: князя В., prince Double W. Он заподозрил, стал увещевать, увещевал – и однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить ничем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается даже замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж.

Сергей Львович отрывисто сказал:

– Имя.

Он требовал имени соблазнителя.

На вопрос Василия Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно:

– Для дуэли.

Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался назвать имя.

Он не уверен, точно ли это князь В., сказал он. Может быть, князь В. был лишь для отводу глаз, подставное лицо. Хотя он однажды, точно, тютюировал ее, говорил ей: ты, но все остальное неизвестно.

– Он ее тютюировал? – медленно спросила Анна Львовна, – в твоём присутствии?

– Да, но он кузен, – ответил Василий Львович с блуждающим взглядом.

– Le cousinage est un dangereux voisinage,²³ – пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прелата.

– Он-то, может, мой дружок, ее только тютюировал, но она-то – вспомни, душа моя, – она-то, может, стать, строила куры?

²³ Родство – опасное соседство (фр.).

В присутствии Василия Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла золовку злодейкой и говорила просто: она.

Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка, или, как Анна Львовна ее называла, Анка, ходила тихонько, с заплаканными глазами, с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна выслала ее вон, причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом.

Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет; что, не зная в подлинности дела, он желает одного: чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает; напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно; что он муж и христианин и готов на все.

Сергей Львович был глубоко тронут.

– Мой ангел, – сказала Аннет.

Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин. Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фрак и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам, в первый раз после происшествия.

Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорною в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили повидаться с преступницей и увещевать.

Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре, на соломе, и питаться ардами...

– Акридами, – поправил Сергей Львович.

...чем вернуться в этот дом.

Потом Надежда Осиповна пошептала с сестрицей Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками.

– Если вы, Nadine, можете верить злодейке, – сказала она, – бойтесь за себя!

И брат с сестрой тотчас же поехали к Василию Львовичу.

В Василье Львовиче в этот вечер они застали разительную перемену: он опять малодушествовал, бегал по комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного – как сиделку. Послано за доктором.

Доктор объявил жизнь Василия Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал.

Он рассказал, что к нему явился посланец от Капитолины Михайловны или, может быть, от князя В. – он не желает об этом знать – и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна sprysнула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он взвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрепив все своею подписью.

– Аннушка, выдь, – сказала строго Анна Львовна. – Но, мой дружок, душенька Базиль, как же вы написали такое?

– В полном беспамятстве, – сказал, разведя руками, Василий Львович.

Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью:

– Развода нет и не будет – в наказание, – суда не боюсь, милостивая государыня, и еще увидим!

2

К Капитолине Михайловне послан для переговоров Сонцев. Матвей Михайлович вернулся, пыхтя, и сказал, что сам поверить своим глазам не может: ему показывали письмо, и

в письме рукою Василя Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своею крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним супруги его и дает ей полную мочь делать что хочет и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно.

Василий Львович сказал, морщась:

– Не помню. Полнейшее забытие и беспамятство. И вовсе не похоже на правду. Ничего не помню.

Он было застонал, но уже гораздо легче, чем в первый раз, и вскоре натура взяла свое – назавтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры.

Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствует с некоей горничной Анкой.

Даже толстяк Сонцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда речь зашла о Василье Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал, что у Василя Львовича всегда была эта народная русская фибра, жилка, Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас попросила его замолчать.

Василью Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он нимало не виноват, но приятели, лстя его самолюбию, называли его селадонем, фоблазом и усмехались.

Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе, и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютюировать – говорить ему ты, попросту тыкать – люди, с которыми он вовсе не был короток.

Слава петербургского брига на галереи была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому, так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе неуместна: Василью Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ; он не хотел званья какого-то фоблаза и, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства.

Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами.

Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Васильем Львовичем в долгу: только за год до того Василий Львович сработал для глухого тестева издания «Приношение религии» два вполне приличных духовных стихотворения: «О ты, носившая меня в своей утробе» и о «жене, грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное и, начинаясь описанием этой блудной жены:

Жена, грехами отягченна,
К владыке своему течет бледна, смущенна, —

кончалось ее полным прощением.

Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне.

Но дурак тесть его не принял.

Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему: важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получаса, молокососы все более набивались в друзья.

Наконец он увидел себя сказкою всего города.

Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд.

Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему трудней день ото дня. Даже сестрица Аннет, девотка, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василья Львовича, а Сергей Львович решительно отстранился: пожимал плечами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим, а с братом стал разговаривать отрывисто.

Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грекура о служанке, в неизвестном переводе: «Пусть, кто хочет, строит куры всем прелестницам двора, для моей нужно натуры, чтоб от утра до утра, забывая ночь ненастну, целовать служанку прекрасну». Василий Львович обомлел.

Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было дело рук юных негодяев, набивавшихся в друзья, а чтобы не возбудить подозрений, они дали дитяти переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший: «Лобызать служанку страстну» – и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки.

Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по петербургской «галере», родственник и однофамилец, Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду, как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать: «бывшие Пушкины». Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминал отца. Более того – эту неосновательность он возвел в закон и правило. Он проповедовал в гостиных афеизм – что все в жизни есть одно воображение, туман и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное.

Встречаясь с Васильем Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами, вместе с тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди, крепко целовал, потом строго смотрел в глаза ошалевшему Василью Львовичу и говорил, содрогаясь:

– О, все тот же! Шалопут! Соблазнитель! – и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновенья.

Духовные стихи Василья Львовича, изготовленные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Васильем Львовичем и отозвавшись о стихах с горячею похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону, а parte:

– Тартюф!

Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном, но, после того как развод его огласился, от афеиста-кузена не стало житья. Он громко вздыхал, завидя Василья Львовича в обществе, и сурово грозил ему пальцем. Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена.

Скандалная слава ему прискучила. Самолюбие его было пресыщено.

3

Василий Львович всем объявил, что едет в Париж.

Кто из приятелей верил, кто не верил; но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василья Львовича. Юные бездельники-друзья ставили на него куши – поедет или останется?

На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику:

– Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?

Василий Львович притворился, что не слышит, сердце его с приятностью замерло, он осклабился – что ни говори, это была слава.

– Невидный, – сказал князь, – что ему Париж дался?

Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение получено.

Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому мосту, а по Елисейским полям. Для того чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком мосту во французских лавках – и накопил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали с уважением, с завистью:

– Вы все еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже.

Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и присылать ему письма для печати.

– Я буду писать решительно обо всем на свете, – твердо обещал Василий Львович.

Наконец срок отъезда назначен. Общее участие в сборах вознаградило Василья Львовича за месяц болезненных припадков.

За три дня до отъезда Иван Иванович Дмитриев, который тоже был задет за живое поездкой Василья Львовича, написал поэму: *Путешествие N. N. в Париж и Лондон*: «Друзья! сестрицы! я в Париже!»

Поэма тотчас разошлась по рукам, скорей, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде; они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворения, но и самые приключения Василья Львовича давали новую жизнь поэзии.

Один из юных бездельников сунул-таки новую поэму Василью Львовичу, сказав, что это – так, безделка.

Василий Львович впопыхах забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать элегию, но элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал элегий.

Тут он вспомнил о безделке, данной ему утром приятелем. С первых же строк он понял, в кого автор метит: это было воображаемое путешествие самого Василья Львовича. N. N. и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава.

Все тропки знаю булевара,
Все магазины новых мод...

Часть вторая его несколько огорчила: Василий Львович будто жил в Париже – в шестом этаже.

– Вот и видно, что в Париже не бывал, – сказал, усмехаясь, Василий Львович, – там и дома-то в шесть этажей не часто встретишь, а на чердаках отроду не жил.

Затем говорилось, правда мило, и о слабостях его:

Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно, —
Хоть слушай, хоть не слушай их...

– Куплетов не пишу, – сказал тихонько, с бледной улыбкой Василий Львович, – а элегии... или басни... как и вы, Иван Иванович.

Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять...

– Как все французы, – еще тише сказал Василий Львович.

Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны...

– Рифма... нетрудная, – сказал, прищурясь, Василий Львович.

Кто был в этом повинен – неизвестно: но слава Василья Львовича, чем громче она становилась, тем более отдавала фанфаронством, в ней не было ничего почтенного.

Горько глядя по сторонам, Василий Львович увидел Аннушку, она умильно на него глядела, как всегда бела, мила и дородна. Он ее обнял и утешился.

– Стихотворец и всегда лицо публичное! – сказал он ей. Аннушка была на сносях.

В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его.

Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабьими слезами и лобызнула барское плечо, причем Василий Львович, уже на правах заграничного путешественника, громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василья Львовича до заставы, там распили в честь его бутылку вина, Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.

Глава четвертая

1

К шести годам он был тяжел, неповоротлив, льняные кудри начали темнеть. У него была неопределенная сосредоточенность взгляда, медленность в движениях. Все игры, к которым принуждали его мать и нянька, казалось, были ему совершенно чужды. Он ронял игрушки с полным равнодушием. Детей, товарищей игр, не запоминал, по крайней мере ничем не обнаруживал радости при встречах и печали при разлучении. Казалось, он был занят каким-то тяжелым, непосильным делом, о котором не хотел или не мог рассказать окружающим. Он был молчалив. Иногда его заставляли за каким-то подобием игры: он соразмерял предметы и пространство, лежащее между ними, поднося пальцы к прищуренному глазу, что могло быть игрою геометра, а никак не светского дитяти. Откликался он нехотя, с досадою. У него появлялись дурные привычки – он ронял носовые платки, и несколько раз мать заставляла его грызущим ногти. Впрочем, последнее он, несомненно, перенял от самой матери.

Мать подолгу смотрела на него, когда он замечал это, отводила взгляд. Дяденька Петр Абрамович был прав, он был решительно похож на деда, на Осипа Абрамыча; она не помнила отца и с детства боялась его имени; Марью Алексеевну она не спрашивала, но всем существом понимала и чувствовала: сын пошел в него – и ни в кого другого. Она стала прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял. Это было неудобно, и он

начал обходиться без платка. Она стала связывать ему руки поясом, чтобы он не грыз ногтей. Неизвестно, как и откуда могли прийти опасности, проявиться дурные и странные черты у этого мальчика, похожего на своего деда. Мальчик не плакал, толстые губы его дрожали, он наблюдал за матерью.

Вообще он обещал быть дичком. Тетка Анна Львовна верхним чутьем все это почуяла. Она теперь часто бывала у них. Брат Василий был временно спасен, в Париже, приходилось спасать брата Сергея. Надеine она ничего не говорила, но все кругом подмечала, все непорядки. Если к столу подавали, случалось, надтреснутый стакан, она говорила:

– Ах, стакан битый!

Когда Никита раз позабыл поставить Сергею Львовичу уксус, она сказала ему холодно:

– Принеси уксус, горчицу и все к тому принадлежащее.

Надежда Осиповна при ней нарочно роняла чашки, чтоб чем-нибудь разрядить гнев, который у нее накопал.

Но в одном они сходились – и Аннет и Надеина – Александр рос совсем не таким, как нужно: в нем не было любезности. Тетка полагала, что воспитание виновато.

– Александр, встаньте, – говорила она.

– Сашка, поблагодари отца и мать.

Сашкой звали его отец и мать, когда изображали нежность. Но тетка произносила это имя со злостью, и он не терпел, когда его так называли.

Александр вставал. Он благодарил отца и мать. Однажды, посмотрев на тетку, он вдруг улыбнулся. Тетка обомлела: улыбка дитяти была внезапна, неуместна и дерзка.

– Чему ты смеешься, что зубы скалишь? – спрашивала она с тревогой. – Ну, что смешного нашел?

– Сашка, поди вон, – приказал Сергей Львович.

Александр встал из-за стола и пошел вон.

У дверей наткнулся он на Арину. Глядя на него жалостливо, Арина сунула ему пряник и мимоходом прижала к широкой, теплой груди.

Он пробирался по родительскому дому волчонком – бочком, среди тайно враждебных ему предметов. Он был неловок, бил невероятно много посуды; так по крайней мере казалось Сергею Львовичу. Сергей Львович с тоской чувствовал ценность падающих из рук этого ребенка стаканов. Не замечая окружающих вещей и не дорожа ими, он с необыкновенной ясностью ощущал их незаменимость в момент боя. Это было главным страхом семейства Пушкиных – убыль и порча вещей. Сергей Львович приходил в отчаяние из-за пропажи какого-нибудь платочка, он изнемогал от волнения, когда не находил на месте новой французской книжечки. Без нее жизнь казалась неполной и жалкой. Он во всем винил детей. Книжечка находилась, и он равнодушно швырял ее в сторону. Вещи казались незаменимыми, гибель их неоплатной. Каждый стакан был в опасности.

Надежда Осиповна была неprovорного мальчика по щекам, как била слуг, звонко и наотмашь, как все Ганнибалы. Родители склонялись над осколками. Сергей Львович пытался восстановить первоначальный вид стакана и безнадежно махал рукой: невозможно! Александр бил вдребезги. Надежда Осиповна несла свой гнев в девичью; она возвращалась тяжело дыша и с отрывистой речью, но умирная. Из девичьей доносилось осторожное, тонкое всхлипывание – побитая девка скулила.

Постепенно, не сговорясь, родители начинали глухо раздражаться, если приходилось подолгу смотреть на сына. Это был ничем не любезный ребенок, обманувший какие-то надежды, не наполнивший щебетаньем родительский дом, как это предполагал Сергей Львович.

Вскоре родился третий сын и наречен Львом.

Лев был кудрявый, веселый, круглый. Сергей Львович в первый раз почувствовал себя отцом. Он умилился и поцеловал Надежду Осиповну с чувством. Слезы текли по его лицу. Надежда Осиповна тоже полюбила сына, сразу и вдруг, без памяти. Остальные дети для нее более не существовали. Через неделю все пошло своим порядком.

Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огорчался. Дети кругом были именно детьми, во всем милом значении этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Шатобриана натче́за. Он охотно читал Шатобриана, и самолюбию его льстило, что его брак с Надеждой Осиповной всеми замечен. Но одно дело любовница, даже жена, и совсем другое дело сын. Так жадно стремиться к тому, чтобы все было как у всех достойных, – и встретить такое жестокое отовсюду непонимание! Сергей Львович втайне сам становился в тупик перед своей семейственной жизнью. В квартире – а они меняли их что ни год – он прежде всего занимал кабинет и место у камина. В кабинете стоял письменный стол в полкомнаты, на котором всегда лежал лист чистой бумаги. Сергей Львович писал там свои письма. Он смотрел в окно и останавливал всех людей, пробежавших на кухню и в людскую. Он спрашивал их, кто, куда и зачем послан. Писем он писал мало. Чистый лист лежал неделями на его столе. Глаза застилало дымкой, губы шевелились и улыбались. Сергей Львович погружался в мечтательное остроумие: он ставил в тупик воображаемых противников неожиданными эпиграммами. Грубая существенность не достигала его кабинета: домашние уважали его занятия. Порою он отмыкал ящик стола особым ключиком и доставал заветные тетради. Они были в зеленых тисненых переплетах с золотыми разводами по корешкам. Он открывал их и медленно, прищуря глаз, читал. Рука его слегка дрожала. Рисунки были исполнены тушью, розовой и красной краской, а то и чернилами, рукою опытной и смелой. Весь Пирон, Бьевриана, избранные отрывки из Дора, а потом шла безыменная мелкая сволочь Парнаса, до того пряная, что у Сергея Львовича застилало взгляд. Были и русские авторы, но Барков был груб, и до французов ему было вообще далеко. Французы и самую наготу умели делать забавной.

Надежда Осиповна, которая кочевала, как цыганка, из комнаты в комнату, то и дело меняя расположение комнат и порядок мебели, все изменяя на своем пути, не осмеливалась нарушать его занятий. Ее жизнь, впрочем, сосредоточивалась в спальне: там она сидела, не выходя по целым дням, нечесаная и немытая, и грызла ногти, пока не было гостей. Вдруг находила на нее охота воспитывать детей. Или с месяц подряд каждый вечер изнеможенный Сергей Львович должен был вывозить жену. Потом мать снова погружалась в пустынную спальню.

Сергей Львович молодец при гостях лет на десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его. Он и жил и дышал на людях. Утром, прохаживаясь у зеркала в гостиной, он даже, случалось, мельком репетировал первый момент появления гостя: наклонял голову, легко, почти неувидимо, и тотчас откидывал назад. Александр видел, как губы отца шевелились и улыбались, а взгляд становился любезным и умным. Заметив Александра, он морщился, принимал скучный вид. Ему мешали.

Александр любил гостей. Зажигали свечи, у матери становился певучий голос. Смех ее был гортанный, как воркотня голубей весной, у голубятни. Отец сидел в креслах уверенно, не на краешке, как всегда. Он казался главою семьи, владел разговором; мать безропотно его слушала и ни в чем не возражала. Это была другая семья, другие люди, моложе и лучше, незнакомые. При гостях мать ему улыбалась, как только иногда улыбалась Левушке. В их присутствии о них рассказывали гостям длинные истории, которые он с удивлением слушал, и называли их *mon Sachka* и *mon Lolka* с нежностью, которой он боялся.

В особенности часто это случалось при Карамзине, лукавом, медленном и спокойном. Александр понимал, что Карамзин – это не то, что другие. Александра при нем забывали отсылать спать.

Истинный праздник был однажды, когда Сергея Львовича посетил какой-то сосед по нижегородскому поместью, в котором тот так и не бывал еще ни разу. Сергей Львович говорил тонко, а на все хозяйственные вопросы отвечал значительными умолчаниями – главные его поместья были, по его словам, в Псковской губернии – и выказал себя дальновидным хозяином. Дважды, скользнув взглядом по гостю и вздохнув, он упомянул о деде своем, Александре Петровиче. Неуклюжий гость был очарован и смотрел на Надежду Осиповну как на диво. Потом родители долго, посмеиваясь, вспоминали манеры простака.

Гости уезжали, мать безобразно зевала и расстегивала пояс, который все время теснил. Мебели были серые, не новые.

Но гости все реже показывались: у Пушкиных, как ни билась Марья Алексеевна, масло было гнилое, яйца тухлые. Карамзин был занят важными делами и мыслями. Сергей Львович становился ему неинтересен.

2

Когда случалось, что Сергей Львович почему-либо оказывался дома, он всегда сначала озирался – не ускользнуть ли? Потом мирился, надевал халат и занимал место у камина. Здесь в такие вечера он любил просматривать известия о производствах его бывлых гвардейских товарищей. Один был генерал, другой командовал полком, третий состоял при Голицыне. Новое царствование открыло карьеру его товарищам. Самая мысль о службе претила ему; он считал единственно ценным дворянские вольности и приятное препровождение времени. Он всегда утверждал это – и все же огорчался.

Камин привлекал его игрой углей и теплом. Брат Василий недаром написал счастливое послание к камину. Теперь он в Париже и наслаждается не только камином и не только игрою углей. Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале. Парижские театры! Бог мой! Так ошибки приводят к счастью. Он тайно и глубоко завидовал брату, главным образом его ошибкам. У него часто спрашивали о брате, и Сергей Львович каждый раз бывал и польщен и огорчен: Василий Львович ни разу не написал брату. Москва не забывала Василья Львовича; часто и охотно воображали его фигуру на Елисейских полях, вблизи Бонапарта или мадам Жанлис. Монфор нарисовал картину: Василий Львович стоит, разиня рот, перед востроносым Буонапартом, и шляпа, выпавшая из рук, лежит тут же на земле.

А Сергей Львович сидел перед камином, в Москве. Он читал здесь иногда роли Мольера, читал благородно, без дурных выкриков новой площадной школы. Особенно ему удавались роли Гарпагона и Тартюфа. Сергей Львович сильно передавал сожаления Гарпагона о шкатулке и тонко – благородную подлость Тартюфа.

Надежда Осиповна не любила его декламации. Может быть, ей казалось смешным актерское самолюбие мужа, а чтение наводило скуку; она любила в театре все, кроме сцены. А может быть, странным образом, во время этой декламации обнаруживались слабые стороны его характера.

Но он нашел слушателя в сыне. Он тревожным взглядом следил за Александром, когда тот появлялся у камина; потом равнодушно вздыхал и начинал тихонько напевать вздор.

Александр слушал. Отец как бы не замечал его присутствия. Тогда Александр просил отца почитать Мольера. Говорил он отрывисто. Сергей Львович непритворно изумлялся.

– Вы хотите? – говорил он неохотно. – Но у меня вовсе нет времени. Впрочем, извольте.

Самолюбие его огорчалось только тем, что сын ни разу не выразил своего одобрения или восторга; впрочем, внимание, с которым он слушал, было лестно.

Сергей Львович был чтец прекрасный, он знал это. Он живьем чувствовал Мольеров стих и всегда соблюдал цезуру; лучше же всего удавались ему Мольеровы умолчания и перемены.

В «Школе мужей» это у него бесподобно выходило:

Il me semble.....
Ma foi.....²⁴

Он смотрел на кресла, где сидел слушатель, не замечая его и кланяясь, когда нужно, входящей Эльмире. Слова и пространство перед камином и даже самый сертук его приобретали необыкновенное достоинство. Когда в дверь входили, он смолкал, оскорбленный. В особенности не терпел он присутствия Марьи Алексеевны и при ней становился сух и насмешлив, цедил слова.

Кончая сцену, он присматривался к своему слушателю и оставался доволен.

– Мольер превосходно все понимал, – говорил он тоном превосходства.

Еще раз украдкой поглядев в лицо сына, он хлопал в ладоши:

– Петрушка! Снять со свеч!

Он забывал о Мольере, о сыне и возвращался к действительности.

3

В детскую комнату он не заглядывал, считая это для себя смешным и неудобным, ненужным. Только раз просидел он в детской час и более. Дети с интересом наблюдали за отцом, он явно от кого-то прятался. Шикнув на них, чтоб молчали, отец внимательно прислушивался к тому, что говорила мать с кем-то в гостиной. Несколько раз он хмурил брови; раз даже дернул дверную ручку, хотел выйти, но тотчас сдержался. Наконец в гостиной все стало тихо. Не обращая внимания на детей и как-то странно фыркнув, отец выскочил из детской. За все время он не сказал ни слова, как будто их вовсе не было в комнате.

Сергей Львович прятался в детской от заимодавца.

Он был брезглив; когда находил в комнате оброненную детскую вещь, двумя пальцами относил в дальний угол. Надежде Осиповне он не делал никаких замечаний, он давно отвык от замечаний, не звал и Аришки, он просто ронял детскую вещь. Этих детских вещей становилось все больше.

Вскоре Сергей Львович наткнулся на неприятность, непредвиденный случай: старший сын попросил у него денег. Александр просил денег для каких-то ребячьих мизерных вздоров; постояв перед сыном и твердо решившись не давать ни копейки, Сергей Львович вдруг так живо представил эти ребячьи вздоры – мяч и проч., – что сразу же дал, и только потом огорчился. Он сделал открытие: сын подрастал. Сергей Львович с тайным беспокойством почувствовал, что сыновья предмет важный, а этому сыну еще не раз понадобятся деньги.

Однажды вечером, проходя мимо детской, Сергей Львович услышал разговор и приостановился. Говорила Аришка. Он прислушался.

Аришка сказывала старшему барчуку какую-то сказку. Говорила она неспешно, иногда прерывала рассказ, зевая, и по всему было видно, что Аришка сидит за чулком. Сергей Львович улыбнулся и послушал. Вскоре он нахмурился: рассказ няньки был бессмыслен и дурного тона. Он приоткрыл дверь. Нянька вязала чулок, а Сашка сидел на скамеечке и смотрел на нее неподвижным взглядом, полуоткрыв рот. Сергей Львович почувствовал себя уязвленным как отец и чтец Мольера.

Ничего не сказав, он удалился. Мальчик, который говорил исключительно по-французски, который, казалось, понимал уже язык Расина, заслушивался дворни.

²⁴ Мне кажется.....Честное слово..... (фр.).

В тот же вечер тонким, пискливым голосом он сказал Надежде Осиповне, что долее Сашку оставлять на руках у Аришки невозможно, если не хотят в нем впоследствии видеть невежду. Необходимо, чтобы за ним ходила мадама. Мадамы были необходимы; эти няньки-растрепы, с их нелепым говором, утомляли его.

Речь его была такова, что Надежда Осиповна, которая хотела было, как всегда, возразить, смолчала. Сейчас истинное достоинство познавалось в том, насколько удавалась французская тонкость. Надежда Осиповна одна из первых в Петербурге стала целоваться с женщинами в обе щеки, как истая француженка, вместо нелепых старых поклонов. Эта быстрота восхищала Сергея Львовича. Их дом не на шутку мог стать вполне французским домом: и книги французские, и новости, и язык, и Василий Львович в Париже. Сергей Львович иногда с восхищением замечал, что за целую неделю не произнес ни одного русского слова, кроме разве приказов, отдаваемых казачку: «сними нагар» и «подавай обед». По-русски разговаривал он только со слугами или когда бывал сильно чем-нибудь раздражен. Сергей Львович стал даже было Никиту учить французской грамоте, да ничего не вышло. Словом, мадама была до крайности необходима. Но добыть ее было трудно, и притом не по карману. Настоящие мадамы были в большой цене и нарасхват.

4

Сергей Львович всегда был скор на решения, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли, по совету сестрицы Аннет, старушку Анну Ивановну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть и не была мадамою в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости, лепетать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплота и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках: жевала тайно сладости, утаенные за столом, во время гулянья заблудилась и потом все свалила на детей, будто бы ее бросивших. «Хороша матушка», – сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живывала. В тот же день со срамом отказали ей от места.

Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения, она была настоящей мадамой и даже могла делать чепцы по моде – это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. На детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей.

Отказала ей разом и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно: мадам Лорж удалилась.

Гувернантки не принялись в доме.

5

Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек, в сапогах а la Souvovov, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напореженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались. Говорили даже, что Цырцея собиралась вернуться к своему

супругу. Слух, впрочем, оказался ложным: Цырцея выходила замуж, но это его несколько не обескуражило. Он привез Аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя, чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субретку. О мадам Рекамье отзывался он небрежно:

– Стройна, но лицом нехороша.

Хвалил ее дворец:

– Стекло, стекло и стекло. Везде стекло.

Бонапарт чрезвычайно его занимал. Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом.

Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтоб показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову.

Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма декламации и в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Расина. Косое брюхо несколько мешало ему.

Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере:

– «Цивильский цирюльник» бесподобен.

Много говорил о соперничестве m-lle Жорж и m-lle Дюшенуа.

– У Жорж жестикуляция, руки! – говорил он и протягивал обе руки.

– Но у Дюшенуа – ноги, – говорил он и вздергивал панталоны, – Боже! что за ноги!

Когда вблизи не было дам – дети в счет не шли, их никто не замечал, а они всё слушали, – он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком, платочек отдавал еще парижскими запахами.

По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме – утреннем; походка его изменилась; он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее Охотного ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в Пале-Рояле. У Шевета были холодный пастет, утиная печенка из Тулузы и жирные, сочные устрицы. Знаток шевелил губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения не являлись. Повара своего Власа он звал отныне Блэз. На деле же он более всего любил гречневую кашу.

Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных: Карамзин, Дмитриев, Пушкин; он был героем дня – l'homme du jour.

Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войн и ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул:

– Бонапарт опасен! Весьма опасен! – и тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками – nonnettes.

Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей, но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился:

– Мой Бог! Но о войне никто не говорит! Париж есть Париж!

Такой он вольности набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье; она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда.

Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василья Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов, состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть – и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василья Львовича последние парижские романсы.

6

Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей, пустил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе. Цырцея провозглашена непорочною, а Василий Львович грешником, каковым и был на самом деле. Синод определил: дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а прочее время под смотрением духовного отца. Против ожидания Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы. Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василья Львовича. Главною чертою в покаянии он выставлял переход Василья Львовича от блюд Блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной. Местоположение монастыря, избранного для епитимьи, было самое счастлирое, и Василий Львович, проведенный в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы снял внаем у Господа Бога дачу. Вообще Москва лишняя раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный.

Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужимки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величию дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде; Сергей Львович наполовину верил им. Иерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына; кухня Блэза привлекала его: басня, пущенная Алексеем Михайловичем. Но сын бывшего Пушкина рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, объедали его, опивали. О, эти *vieux renards de синод*!²⁵

Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла:

– Брат!

И она приказала детям выйти вон.

7

У него были два брата и сестра. Братец Левушка, малютка, был любимец; сестрица Олинька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки – куколки, веерки, – она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николинька был болезненный и белесый.

Он относился к ним, как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николиньке и Левушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Левушке и во всем уступать Николиньке, как младшему; он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза.

²⁵ Старые лисы из синода (фр.).

У дома и у родителей были разные лица: одно – на людях, при гостях, другое – когда никого не было. И речи были разные – французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Nadine, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина – это было похоже на Диану, на нимфу в Юсуповом саду. Это был тот *свет*, о котором иногда говорили за столом родители и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами: ему не доставало русских слов, и наворачивались другие, французские. Когда родители были нежны друг к другу, они говорили между собою по-французски, и только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски.

Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотанием. Ужимки их были чем-то очень милы. Гости быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гости говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкой бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.

По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали: *les freluquets*;²⁶ о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих *freluquets*; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться – и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:

– А французы-то нас бьют да бьют!

Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворнях, о почте, о деревнях и убытках.

Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил, и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем – они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился: там тоже были рисунки – большие, спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков – это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.

8

– Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди – и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и

²⁶ Ветрогоны (фр.).

заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка, и Николинька, тебе одному сна нет.

...Едем, едем – и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился:

«Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».

Он очень боялся отца – женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга – все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой – нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала – как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед – в мундире, при шпаге – пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу – старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное – и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась – вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением.

«Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».

Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.

...А что потом было... Ничего потом не было... Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел...

9

Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрёхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу – водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали – все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну не леший, так домовый. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели – и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего Михайловской округи.

10

Их водили гулять всех вместе, табором, как говорила Марья Алексеевна, – Олиньку, Александра, Левушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «Арапчонок!» и убегали в переулоч. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина

пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.

В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо взгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:

– Что зубы скалишь?

И пошел догонять своих.

Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Лье Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:

– Любимец общества!

Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом – дело было в присутствии Марьи Алексеевны, – объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более.

– И бабушка твоя – Пушкина, и мать.

Марья Алексеевна молчала.

Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно:

– Пропала!

Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовой печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.

– Там бумаги секретные, – сказал он скороговоркой и нахмурившись, – ...масонские.

Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.

Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запямятовал, что запер их не в стол, а в особый шкафчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.

Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.

– Изволь посмотреть сюда – видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуются вотчина, двести четвертей или около того. А это – судебный лист; это, впрочем, не важно.

И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну:

– Твой дед этою грамотой вовсе уволен от службы, в абшид²⁷ за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное.

11

Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался.

²⁷ Отставку (от нем. Abschied).

Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепилась и однажды решилась: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суежилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, все как у людей. Звалась она чужим именем: Захарово, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми; а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит.

Никто ее и не удерживал.

Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.

Глава пятая

1

В последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче – он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули.

Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело.

Стояла осень, красные, в окне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо.

В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страшным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем.

Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт.

– Истребите из сердца все досады, – сказал он ему.

Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начиналось в груди хрипенье, бульканье, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют.

Отдышавшись, он спросил лекаря:

– Сколько мне времени жить?

Лекарь ответил:

– Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни.

Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах. Скрип прекратился.

– Врешь, – сказал он лекарю и показал ему кулак.

Потом, оборотясь к Палашке, приказал:

– Гнать его и денег не платить. Вон!

Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом, цвета глины, с анненскою лентой через плечо, в генерал-аншефском мундире.

Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся кругом и впал в задумчивость. Несли его пять человек – старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике.

– Попарь-ка меня, – попросил он Палашку.

Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам: он храпел и кашлял. Становилось темно.

Он велел нести себя на конюшню. В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глухих загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом, убрала мягкими губами.

– В два дня! – сказал он ей о лекаре. – Дурак!

Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу.

– Для глаза, и дышать легче.

Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную.

– Девоч, – приказал он Палашке.

Господский дом ярко светился и далеко был виден.

– Опять загулял, – говорили в деревне.

– Смерти на него, дьявола, нет.

Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами.

Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои – один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую.

– Машка, выходи, – захрипел он.

Маша была его первая плясунья.

Арап сидел с полужакрытыми глазами.

– Безо всего, – сказал он.

Плясала Маша без всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты все громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги.

– Эх, лебедь белая, – сказал старик.

Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их.

Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить.

– Овса сюда, бадью, – приказал он.

Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине.

– Лошадям корм задавать!

– Окна открывай!

Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом.

– Злодея на волю! Коней отпускаю!

Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно.

Со звонким ржанием, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони.

Он засмеялся без голоса в ответ им:

– Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово – прощай.

2

Когда Петру Абрамовичу сказали, что братец Осип Абрамович без голоса и плох, он не пошел к нему. Вчера он видел ярко освещенные окна в Михайловском, знал, что брат гуляет, и сердился на него, что более не приглашает его на сельские пирушки. Порешив, что Осип Абрамович плох с похмелья, сказал, что не пойдет и что так обойдется. Он был не в брата, сухонький и верткий. Он обид не забывал.

Палашка, не растерявшись, сразу после лекаря, по старой памяти, отправила гонца к Устинье Ермолаевне Толстой под Псков, где она жила летом и осенью на даче.

Черною тушею лежал без памяти Осип Абрамович весь день и всю ночь, и только по свисту и хрипу Палашка понимала, что он жив. А на следующий день, против всяких ожиданий, прискакала Толстиха, Устинья Ермолаевна.

Она была уже стара, подсохла, но походка еще была та же, что двадцать лет назад. Даже ее враги не могли не признать, что у Устиньи походка хороша.

Легко сойдя со своего экипажа, она прошла в комнаты и попятилась: в комнате был содом. Кленовые листья ворохом лежали на полу, залитом вином.

– Мусор вымети, – сказала она строго Палашке. – Что затхоли развели! Что грязи нанесли!

Только когда комнату прибрали, она присела на стул у окна. Она посмотрела на умирающего осторожно и боязливо. На лиловом лбу были толстые капли и струйки пота; она отерла ему лоб платочком и нахмурилась.

С тех пор как их развел архиерей, больше двадцати лет жила Устинья Ермолаевна ни вдовою, ни мужней женою. Все старания приложила она к тому, чтобы у нее «всего было». Деньги Осипа Абрамыча она с самого начала их любви перевела на себя. Он построил ей во Пскове, по Великолуцкой дороге, покойный дом с яблонным садом, купил ей подо Псковом у Чертова ручья дачу, тоже с садом, оранжереями, цветником; подарил ей экипаж и лошадей. Больше всего она любила золото, яблоки и сливы. У ней был золотой сервиз, а яблоки у нее были белые как кипень.

У них небось таких нет. Бездельцы! Какая глупость так распускать о людях, – говорила она о своих врагах – псковских помещиках и их женах, которые ее не принимали.

Она почитала себя невинно оклеветанною. Если бы она вышла замуж за влюбленного арапа, это было бы полным торжеством ее над псковской знатью – всеми «татаровьями» – Карамышевыми да Назимовыми, которые ее чурались, боясь ее дурного характера. Но дело кончилось ничем, и ее связь с арапом стала скандалом, как связь с каким-нибудь заезжим паясом или камердинером. Поэтому, как потерпевшая, она считала себя вправе брать с него деньги и грабить, сколько возможно.

Много раз Устинья съезжалась и разъезжалась с арапом. Последний раз они съехались пять лет назад и через месяц разъехались: Устинья вдруг заскучала по саду, а старик ей показался скучен.

Когда ей сказали, что арап кончается, она тотчас же, не думая, собралась. Были между ними еще не конченные счеты: годы тлела у нее в секретере дарственная на село Михайловское, составленная по всем правилам ее стряпчим; оставалось только внизу написать год,

число и подписаться. Но в этом арап был тверд и, когда заходила речь о Михайловском, становился молчалив. Устинья Ермолаевна прихватила с собою бумагу.

С последнего разезда осталась у него также ее шаль, которой арап ни за что не хотел отдавать, говоря, что это – память.

Палашка подала ей к завтраку печеную картошку со сливками, стакан брусничной воды, ничего больше в доме не было.

Она ела и поглядывала. Кругом была такая пустота, некрашенные полы были так бедны, потолки низки, что она сама удивилась, как из этой бедной хижины явилось ее богатство: и сад, и сервизы, и лошади. Арап умирал в дикой простоте, как, может быть, умирал его дед где-нибудь в Африке. Она сказала Палашке про шаль.

Палашка лазила по всем шкафам – шали не было. Глядя на беспорядок, в котором умирал арап, Устинья сказала Палашке брезгливо:

– Где тут шаль найдешь? Тут себя потеряешь.

Она поела, а брусничной воды не тронула:

– Горько. Разве так бруснику мочат?

Она посидела у кресел, на которых плашмя теперь лежал старый арап.

– За мной зачем посылали? Я-то здесь кто? Добро бы родная была.

– Всё не чужие, – сказала Палашка.

Она услала Палашку.

Недовольно она посмотрела на полупустую комнату, которую десять лет опустошала. На комодке когда-то стояли часы с Кроносом, который жрет младенца: теперь часы у нее; на бюро была статуэтка фарфоровая, фавн с нимфой, – у нее; и только большие лосиные рога висели над столом, охотничье мужское украшение.

Приоткрыв толстые губы, арап отмахивался пальцами от чего-то и лепетал. Глаза у него были полуоткрыты.

– Ну, что? Что хочешь? – строго спросила она умирающего и отвела пальцы.

На ногтях была синюха; впрочем, у него всегда были синие ногти. Пальцы были длинные, на левой руке, как у вдовца, перстень с прекрасным камнем. Грань была старой работы, беседкой, камень был желтой воды, она понимала толк в камнях. Шали Палашка так и не отыскала, шаль была турецкая, с бахромой. Ей было жаль шали. Она посмотрела еще раз на перстень и залюбовалась. Потом, взяв его за руку, она стала тихо снимать перстень с пальца. Палец у арапа разбух, и перстень шел туго. Наконец она сняла его и примерила на большой палец. И вдруг онемела: арап спокойно смотрел на нее и на перстень большими мутными глазами. Он очнулся. Потом как будто тень прошла по лицу – он словно улыбнулся и взял ее за руку.

– Дура, – сказал умирающий внятным голосом, – дура, в губы целуй.

Более в себя он не приходил.

К вечеру появился Петр Абрамыч, сразу после того Устинья Ермолаевна уехала к себе во Псков и снова положила в ларец неподписанную дарственную, а в ночь Осип Абрамыч Аннибал, флота артиллерии капитан в отставке, скончался.

Петр Абрамыч, надев парадный мундир, хоронил брата.

Арап лежал в гробу в морском мундире времени Екатерины, черный как уголь, и попросил крестьянам проповедь о святом Моисее Мурине, который также был эфиоплянин, а смолodu и разбойник; а назавтра прибыл заседатель из города и, помянув покойника вином и пирогами, послал Надежде Осиповне, так же как и Марье Алексеевне, извещение, чтобы приезжали вступать во владение селом Михайловским, понеже отец и супруг их Иосиф Абрамович внезапно волею Божией помре.

3

По получении известия о смерти тестя Сергей Львович принял вид серьезный, степенный и принимал знаки сочувствия, как принимают поздравления.

– *Que la volonté du ciel soit faite!*²⁸ – говорил он с достоинством.

На панихиде он мелко и часто крестился и дважды глубоко и внятно вздохнул. Сестрица Анна Львовна, обняв Надежду Осиповну, всхлипнула было, но это принято было самым холодным образом.

Усадьба и имущество покойного арапа, а если таковые окажутся, и деньги, принадлежали теперь жене и дочери. Марья Алексеевна, у которой была теперь своя усадьба, не захотела ехать на старое пепелище, откуда бежал от нее некогда муж, и предоставила распоряжаться Надежде Осиповне. Нужно было войти во владение, а для этого нужна была мужская помощь. Сергей Львович, однако же, не изъявил желания поехать принимать тестевы владения, ссылаясь на военное время и нежелание начальника отпускать его. Отпуск мог повредить его карьере.

Надежда Осиповна, самовольно распоряжавшаяся в стенах своего дома, вне его была на редкость бестолкова и даже пуглива. В конце месяца она выехала в село Михайловское, а Сергей Львович остался дома, пообещавшись, как только обстоятельства дозволят, выехать вслед за нею.

Только когда закрылась дверь, Сергей Львович почувствовал счастье: получив наследство, он внезапно оказался на свободе самое малое на месяц. В тот же вечер он исчез со двора.

Время было военное, и везде были перевороты. Вся Москва была в каком-то волнении, и все было неверно. По реляциям, государь бил французов, а вестовщики говорили, что, напротив, «французы утюжат нас». В комиссариатском штате все ходили как ошалелые; много ездили, пили, играли в карты. Воодушевление было общее, к дому главнокомандующего ездили узнавать новые рескрипты, и мнение о Бонапарте как о безумце было вдруг всеми принято. Василий Львович перестал заказывать своему Блэзу французские блюда. Вообще чувствовалось общее потрясение.

Бледный и нахмуренный сидел Сергей Львович за зеленым столом в два часа ночи и спускал в рокамболь вторую сотню. Руки его дрожали, и будущность представлялась потерянной.

В том, что все откроется и Надежда Осиповна узнает, Сергей Львович не сомневался, но не хотел думать об этом. Вначале он просто сговорился провести время со старыми приятелями, затем затеялся рокамболь, и вот с самого начала он как нарочно проигрался, дрожа от нетерпения, в пух. Несчастные талии следовали одна за другой.

В четыре часа он был в проигрыше и писал заемные письма: «Обязуюсь уплатить сто – двести – пятьсот рублей. Число. Месяц. Год. Сергей Пушкин». Малодушие его было таково, что он готов был плакать. В пять часов он вернул все и даже остался в выигрыше. Силы покинули его. В совершенной слабости он пил воду. Вся прошлая жизнь, жизнь отца семейства и покорного мужа, исчезла в одно мгновение. Вся прошлая жизнь была проигрыш, а теперешняя выигрыш. В течение часа душевные силы его заметно восстановились. Он решил, что не будет более играть, а в случае если проиграется, будет проситься на поля сражений. Надежда Осиповна для военного была не так страшна.

Наслаждаясь новою свободой, он позволил приятелям, после короткой заминки, отвезти себя поутру согреться в известный дом на окраине – к Панкратьевне. Панкратьевна,

²⁸ Да свершится воля неба! (фр.)

толстая старуха, держала за Москва-рекой дом с толстыми девками, жирными щами и славила свою первобытной простотой.

– Масло, – говорили об ее питомцах московские знатоки и жмурили глаз.

Сергей Львович произвел на Панкратьевну самое отрадное впечатление своею вежливостью и ел славные щи с истинным аппетитом.

Пробыв у нее в гостях до полудня, Сергей Львович нашел себя. Открылось, что он создан для приятной жизни, а не для каких-либо дел или семьи. От выигрыша даже осталось несколько; деньги он пересчитал и отложил на счастье в кошелек, решив не тратить. С необыкновенным спокойствием и важностью он вернулся к себе домой. Об обещании приехать, данном Надежде Осиповне, он старался не думать: самое сильное отвращение было у него к разного рода описям, вводам во владение и проч. С детьми возилась теперь Арина, и с этой стороны ничто не беспокоило его.

Грушка у Панкратьевны пришлась ему по нраву. По утрам он ездил с визитами, и ему бывали рады: если кто не принимал на Поварской, он тотчас сворачивал на Тверскую; обедал там, где вся Москва обедала, – у старух и стариков, а вечером тянуло его к Панкратьевне. Являлись юные негодяи и увозили его. Теперь ему никто не мешал.

4

Мать была где-то далеко, в поместье черного деда, о котором родители не говорили, но многое смутно напоминало; он привык к любопытству мальчишек и прохожих. Лицо его было смуглое, волосы светлые и вились.

Ему говорили, что дед умер; теперь он умер вторично. Судьба этого темного деда чрезвычайно его занимала. Теперь у них было поместье, о котором отец сказал, что там прекрасное озеро. Мать была угрюма; она уехала, расцеловав маленьких в щеки, а его – в голову. И теперь он был на свободе.

По утрам он иногда видел виноватую фигуру отца; отец возвращался откуда-то и быстро семеня к себе в кабинет. Он прекрасно знал его походку – так отец являлся домой, когда боялся матери. К вечеру отец исчезал. Случалось, что кабинет пустовал и день и два. В кабинете он научился распоряжаться, как в захваченном вражеском лагере. Он перечел много книг, лежавших в беспорядке на окнах. Это были анекдоты, быстрые и отрывистые. Он узнал об изменах, об острых ответах королей, о римских полководцах, о славных женщинах, которые умели прятать любовников; перелистал словарь римских куртизанок; более всех ему понравилась ловкая Лаиса, подруга жирного Аристиппа; прочел о людях, которые, умирая на плахе, делали острые замечания.

Он читал отрывисто и быстро, без разбора. Его очень занял портрет Вольтера: полуобезьянья голова старика с длинными, вытянутыми вперед губами, в ночном белом колпаке. Это был мудрец, поэт и шалун; он смеялся над королем Фредериком и всю жизнь хитрил.

Очень ему понравился также рассказ в стихах о том, как две благочестивые старушки, вернувшись домой и улегшись на постель, нашли там дюжего молодца и подрались друг с другом. Благочестивые старушки, ханжи, девотки, напоминали тетюшку Анну Львовну, а мать с гостями жеманничала, как мадам Дезульер.

Стихи нравились ему более, чем все другое, в них рифма была как бы доказательством истинности происшествия. Он читал быстро, выбирая глазами концы стихов и кусая в совершенном самозабвении кончики смуглых пальцев. При каком-нибудь шуме он ловко ставил книжку на место и, вытянув шею, приготовлялся к неожиданности. Вообще осенью этого года он вдруг переменялся. Исчезла медленная походка увальня; медленный и как бы всегда вопрошающий взгляд стал быстрым и живым. Ему было семь лет.

Наконец он добрался по лесенке до самой верхней полки в кабинете. На верхней полке стояли маленькие книжки в кожаных переплетах. Он стал читать их, и новый мир перед ним открылся. У каждой женщины были милые тайны; все разнообразно обманывали друг друга; подруги притворно гнали пастушков; вельможи давали забавные ответы; фавны гонялись за нимфами с какой-то сладкой и неясной целью; наездники до изнеможения объезжали горячих кобылиц; охотники убивали таинственную дичь наповал; садовник сажал розан в корзинку Аннеты; шел насмешливый счет ночным победам – одна, и две, и три победы были смешны – их должно было быть без счета. Все между тем изнемогало от томления – всюду шел бой, а о женщине говорили, как о незнакомой стране, которую предстояло открыть, с холмами, лесами, горами, гротами, прохладной тенью. Дыханье у него захватило. Он подозревал чудеса.

Теперь, когда мать уехала, движения его стали вдруг свободны и быстры.

Ему ничего не стоило без усилия и разбега вспрыгнуть на стол, перескочить через кресло, не опрокидывая. Ему не сиделось на одном месте, неожиданно для самого себя он вскакивал и ронял книгу, менял место. Он играл в мяч на дворе с мальчишками и верно находил цель взглядом и мышцами всего тела.

Почти весь день проводил он в девичьей. Арина вначале на него ворчала, но вскоре перестала. Девушки привыкли к нему, здоровались с ним нараспев, смеялись при нем и фыркали, говоря о Никите и поваре Николашке. Они пели долгие, протяжные песни, и лица их становились серьезными. Заметив, что песни ему полюбились, они всякий раз, когда он приходил, пели ему. Так они спели песню про белы снеги, про березу, про синицу.

Раз, когда Арины не было, самая быстрая из них, Татьяна, на бегу вдруг обняла его и стала тормошить. Девки завизжали, засмеялись, но, когда вошла Арина, сразу замолчали. Татьянка покраснелась, Арина сурово ей сказала:

– Ужо тебе, Танька! Барыне скажу!

Как-то ему не спалось, и он попросил Арину, чтоб Татьяна спела ему. Арина была обижена, что Танькины песни ему больше нравятся, чем ее сказки, но с сердцем, ворча, привела сонную Татьяну, босую и простоволосую. Таня запела над ним протяжно, без слов, и, глядя, как она, полусонная, с открытой грудью, дышит и попевывает, он закрыл глаза и уснул.

Жизнь его стала вдруг полна.

Баловень Левушка хныкал без матери; Олинька, во всем похожая на тетку Анну Львовну, по несколько раз в день заглядывала в комнаты отца – здесь ли. Востроносый Николинька лънул к Арине, зарываясь носом в ее подол.

А он наслаждался свободой.

Теперь перед сном, лежа в постели, он долго, тихо смеялся, зарываясь в подушки. Арина с огорчением на него смотрела; она думала, что он опять напроказил.

Проказы его теперь сходили с рук; незаметно был отбит край хрустального графина; он мячом попал в портрет дедушки Льва Александровича в гостиной, так что холст подался и краска посыпалась. Арина обмерла, но обошлось. Сергей Львович редко смотрел на отцовский портрет и ничего не заметил.

– Дед ажно моргнул на стенке, вот горе, – говорила Арина.

Она крестила его и сердилась. Сказок она ему на ночь теперь не говорила, от сказок он еще пуще не спал. Сказки она говорила только под вечер. Он никогда ее не прерывал, ни о чем не расспрашивал. Когда Левушка раз помешал им, он прибил его.

А перед сном он смеялся от счастья.

5

Неподалеку жили Трубецкие-Комод. Так их звали по архитектуре дома. Действительно, грузный квадратный дом Трубецких, стоявший посреди пустого двора, несколько напоминал комод. Москва всех людей метила по-своему. Дом был комод, и Трубецкие стали Трубецкие-Комод, а старика Трубецкого звали уже просто Комод. Этой кличкой он отличался от другого Трубецкого, которого звали Тарар, по его любимой опере, и третьего, которого звали Василисой Петровной. Трубецкие-Комод жили в своем доме-комоде тремя поколениями; старик, крепконосый, сухой, был уже очень дряхл и глух; всем в доме распоряжалась дочь, сорокалетняя девица Аня. Александр часто встречал на прогулках Николиньку Трубецкого, гулявшего с гувернанткой. Они познакомились, тетка прислала Сергею Львовичу любезное письмо, и Александр стал бывать у Трубецких.

Николинька Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому как сонные мухи. В комодке было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николинька не играл в мяч и не бегал взапуски, он был сластена, лакомка, и нежная тетка его закармливала.

Старик сидел у камина; осень еще только наступила, а он уж зяб. Несмотря на глухоту и дряхлость, дед был разговорчив и во всем требовал отчета у дочери. Увидев как-то Александра, он громко спросил у дочери:

– Кто?

Услышав имя: Пушкин, старик так же громко стал спрашивать:

– Мусин? Бобрищев? Брюс?

Дочь ответила глухому с некоторой досадой:

– Нет, *mon père*,²⁹ *просто* Пушкин.

Старик подумал. Потом все тем же глухим, надтреснутым басом он спросил:

– *Бывшего* Пушкина сын?

Дочь вздохнула и сказала, что это сын Сергея Львовича, соседа.

Тогда старик подумал и наконец вспомнил:

– Ах, это стихотворца!

Голос старца был такой, как бывает у человека, припомнившего что-то забавное. Видимо, Сергея Львовича он не помнил, а помнил что-то о Василье Львовиче.

Когда нежная тетка через несколько минут зашла в детскую посмотреть, как дети резвятся, Александр сидел верхом на Николиньке, довольно верно изображая скачущего во весь опор всадника, а Николинька, на четвереньках, терпеливо изображал смиренного коня.

Тетке игра не понравилась.

Вечером Александр спросил у отца, кто такие бывшие Пушкины. Сергей Львович обомлел и грозно спросил сына, кто сказал ему о бывших Пушкиных. Он отдерет всех этих Николашек, Грушек и Татьянок, которые осмеливаются пороть всякую дичь. Никаких бывших Пушкиных нет, не было и не будет, и он запрещает говорить о каких бы то ни было бывших Пушкиных. Узнав, что это говорил старик Трубецкой, Сергей Львович сказал сквозь зубы, снисходительно:

– Ах, это бедный Комод! Он, бедняжка, так стар, – и прикоснулся пальцем ко лбу.

Потом он так же снисходительно, сквозь зубы, спросил сына, как ему нравится его новый товарищ.

Александр фыркнул и ответил:

²⁹ Папенька (фр.).

– C'est un faineant, лежебок.

В голосе было такое презрение, что Сергей Львович удивился. Он не без удовольствия посмотрел на сына.

6

Надежда Осиповна вступила в свои владения. Низко кланялась дворня, все в новых платьях, опустив глаза.

Никогда не была она помещицей. Всю свою молодость она провела с матерью в столице, в Преображенском полку, в небольшом домике, изредка выезжая на какой-нибудь гвардейский бал. Жила в тайной горькой бедности. Каждый выезд ее стоил обеим, и дочери и матери, мук и горя. Она не помнила Суйды, где провела свое младенчество, и сельская жизнь была ей неизвестна. Поэтому она с боязнью вступила в дом чуждого ей отца. Крытый соломой, серый, он пугал ее. На людей она смотрела строго и угрюмо. Гарем старого арапа от нее попрятался.

Дом казался ей похожим на сарай: не только не видно было нигде и следов роскоши, но самые комнаты были пусты. Надежда Осиповна удивилась: с детства она привыкла считать отца богатым. Следы разрушения были насколько возможно изглажены Палашкой. В комнате, где умирал отец, стояли у кресел в зловещем порядке нетронутая бутылка с лекарством, недопитая фляга вина, тарелка; лежали сбитые в кучку: трубка, картуз табаку, шелковый шейный платок, какие носили сорок лет назад, и полуистлевшие обрывки бумаги, исписанные ржавыми бледными чернилами; а рядом большой засохший цветок, покрытый пылью и перетянутый шелковой ленточкой. Палашка, усердствуя, выложила всю заваль из кроватного столика. Цветок пах горьким старым сеном.

Она прочла бумаги отца. Это были какие-то случайные счета и письма.

«За серебро чайное, за перстень с алмазом да еще перстень с кошачьим глазом всего остается получить триста семьдесят рублей».

«Милостивый государь мой Иосиф Абрамович!

Как в прошлый авторник решения достать не мог и секретарь велел приттить в четверток, то сомневаюсь, что есть решение, и посему покорно прошу пожаловать Вашу милость на ведение дел, что прохарчился и что секретарю ранее выдано, все как вы приказывали полностью. А о формальном разводе ничего не говорит и определения не дает».

«Дружок мой, черт бесценный, я всю ночь нынче без тебя заснуть не могла, все кости тлеют, руки мрут, и вся почитай истлела...»

«Но уж такой поступок в Вас обличает последнего человека. Я, сударь, очень поняла и знаю, какой ты изверг, подлец, и самый малодушный ребенок так сделать не мог...»

Все, что лежало на столике, она бросила в печь; цветок затрещал и рассыпался. Она тотчас же позвала Палашку и распорядилась изменить порядок комнат – отцовский кабинет сделала гостиною, а в гостиной – свою спальную. Девки набили новый сенник, принесли новые козлы – спать на отцовской кровати она не захотела. Выволокли шкаф из комнаты, но следы от тяжелых ножек, вросших в пол, остались и тревожили ее, как след давно минувшего времени.

Наутро, едва она раскрыла глаза, забрякали под окном колокольцы: прибыл земский заседатель с подьячим. Весь день они шатались по усадьбе, мерили длинным аршином баню

и какие-то кусты, и Надежда Осиповна с тревогою смотрела на все это из окна. Подьячий составил опись движимым и недвижимым вещам морской артиллерии капитана Иосифа Аннибала. Явился откуда-то благородный свидетель и нетвердою рукою подписался под актом. Он был крив и пришел с большим псом, которого привязал к крыльцу. Надежде Осиповне он отрекомендовался прапорщиком в отставке Затеппенским, живущим по соседству и готовым к услугам. Потом сели, как водится, за стол, и Палашка поднесла им водки. Заседатель к концу вечера ослабел и свалился под стол. Благородный свидетель кинул ему воду в лицо и велел Палашке с девками свести его в баньку до вытрезвления. Назавтра утром заседатель с подьячим укатили, а благородный свидетель, отвязав пса, откланялся Надежде Осиповне, приложился к ручке и ушел.

– Насосались, пиявицы, – сказала им вслед Палашка, чуть ли не повторяя речь покойного Осипа Абрамовича.

Она не без основания обвиняла заседателя в пьянстве. Он был постоянным дегустатором наливок и настоек Петра Абрамыча.

И Надежда Осиповна в ожидании Сергея Львовича стала жить помещицей. Это оказалось нетрудно. Как в городе, девка приносила ей в постель чай, спала она далеко за полдень, потом обсуждала с Палашкою обед, потом гуляла, в надежде встретить невзначай кого-нибудь из соседей, а там обедала, а там критиковала обед, а потом отдыхала. Дяденька Петр Абрамыч, живший тут же в Петровском, помня ссору, к ней не пожаловал, а она к нему.

Вскоре она познакомилась с соседями – явились ее звать к обеду к Рокотовым и Вындомским. Рокотовы жили в пяти верстах, оказались скрягами, жена – надутая барыней, говорившей по-русски, как по-французски, в нос; муж писклив и мизерен до крайности; обед плох. Старик Вындомский, вдовец, жил рядом, в селе Тригорском. У него гостила молоденькая дочка, бывшая замужем за тверским помещиком Вульфом. Прасковья Александровна Вульф поразила Надежду Осиповну каким-то мужским удалством, которое вовсе не было в моде в столицах, – с утра гоняла на корде лошадей, скакала верхом, ездила на полевые работы, не обращая внимания на шестилетнюю Аннету и годовалого Алексея. Она была крепкая, говорливая, с кудерьками на висках. Вечером садилась у камина и читала Саллюстия по-французски. Над Саллюстием она, усталая, и засыпала. Старик с дочкой доводились сродни Надежде Осиповне: двоюродный брат ее по отцу, Яков Иванович, мичман, был женат на второй сестре Вындомской. Надежда Осиповна, впрочем, не знала ни своего кузена, ни жены его.

По вечерам в Михайловском было скучно и страшно. Комнаты были пусты; везде еще держался слабый, застарелый запах табака, вина, старого человека – отца, которого она не знала и боялась и с которым теперь было раз и навсегда покончено. По ночам она просыпалась, дождик барабанил в окно; кто-то шуршал по соломенной кровле, словно оступался, – потом раздавался неожиданно птичий крик и грай, звук сильного быстрого ветра, точно над ней раздували мехи; она зажигала свечу. Окна слезились; рассветало; поздние птицы улетали. Она вздрагивала от их близости.

В Тригорском же было весело и светло. В крепком, шитом тесом доме Вындомских, над самой Соротью, копошились дети, трещали свечи и сверчки. Прасковья Александровна лихо брэнчала на клавесине, не совсем еще разбитом, и пела самые заунывные романсы; дети плясали и проказничали; и Надежду Осиповну оставляли на ночлег. Здесь ничто не напоминало михайловского бездомовья, и даже птицы, пролетавшие над домом, были, казалось, другие.

У Прасковьи Александровны был прямой взгляд и резкий голос; она была справедлива в своих суждениях. Она завязала с Надеждой Осиповной откровенный разговор. Не стесняясь, она сразу же без обиняков сказала, что Толстиха обобрала старика, как малинку, но

затевать скандальную тяжбу со старою сквалыгою отсоветовала, считая дело безнадежным. О Палашке она тоже отозвалась неодобрительно – воровка и сводня.

Вскоре Прасковья Александровна узнала все новые моды, и ее простодушное изумление льстило Надежде Осиповне.

Она же помогла Надежде Осиповне до приезда Сергея Львовича управиться со всеми делами по имению.

Надежда Осиповна ездила с нею во Псков, и приказный, получив на водку, закрепил за дочерью и женой Аннибаловой родовое Михайловское, Устье тож, с деревнями Косохновой, Репшино, Вашково, Морозово, Локтево, Вороново, Лунцово, Лежнево, Цыблево, Гречнево, Махнино, Брюхово и Прошугово, всего семьсот десятин и более, с пахотой, покосами, лесом и озером, мызами, деревнями, ручьями и огородами, а также душами до ста восьмидесяти мужеска пола и до ста – женского. В этом приказный выдал ей форменную крепость с большой красной печатью, за приложение которой потребовал дополнительно на водку.

Когда, довольная количеством своих и матери деревень, Надежда Осиповна по возвращении пошла их смотреть, она нашла четыре почернелых деревеньки в пять-шесть изб с высокими косыми крылечками на сваях, голые и горькие. Старики в серых сермягах встречали ее у дороги, кланялись в пояс и жаловались на бедность. Старуха вынесла ей на деревянном блюде черный псковский пирог – какору, чиненный морковью. Надежда Осиповна куснула и пошла далее. Больше деревень не оказалось: видимо, они значились в актах по старой памяти. Пахота была бедна, но ручьи, по описи, действительно лепетали вдоль песчаных откосов. Впрочем, они уже кой-где подмерзли и покрылись тонким льдом.

Испуганная неверностью своих владений, Надежда Осиповна посчитала дворню, но на тринадцатой девке махнула рукой. Никому, ни даже Прасковье Александровне, она ничего не сказала, побоявшись спросить, куда делись деревни. Она решила, что всему виною Толстиха, и вместе со злобой на разорительницу почувствовала и некоторое удивление перед отцом, все отдавшим своей страсти. Она побывала вместе с Прасковьей Вульф в Святых Горах. На могиле отца стоял деревянный крест, по которому ползла толстой слезой смола. На кресте Петр Абрамыч сделал надпись карандашом: «Флота капитан 2-го ранга и раб Божий 62 лет, Аннибал». Фамилия была написана, по забывчивости, с росчерком, парафом. Надежда Осиповна постояла с минуту у креста, от которого шел еще сосновый дух. С горы была видна вся окрестность. Она решила положить над отцом черную плиту с более приличною надписью.

Сергей Львович все не ехал, в Михайловском было холодно и голо, и Надежда Осиповна заскучала. Все ей стало тошно, лень стало ходить в Тригорское, она не могла привыкнуть к дому, ни к своим владениям; ей все чудилось, что она не на своем месте и что усадьбу скоро отнимут – та же злодейка Толстиха, жившая во Пскове. Многих деревень как не бывало. Она негодовала на Сергея Львовича, что не едет и бросил ее, беззащитную, в этой глуши. Она заскучала тяжелой, нездешней, непсковской, заморской, желтой скукой. Сидя по вечерам у себя с полужакрытыми глазами, она кусала ногти и пальцы и равнодушно плакала большими мутными слезами. Дом притих, как курятник, на который налетел большой ястреб, и гарем старика, ожидавший еще своей участи, притаился.

Тут случился храмовой праздник, и предприимчивая Палашка решилась. Все девки разоделись и пришли поздравить барыню. Надежда Осиповна вышла и, скучая, посмотрела на них в лорнет. Девки поклонились и затеяли танцы. Надежда Осиповна велела вынести кресла и уселась. Девка, худая и высокая, вдруг скинулась и пошла дробным шагом, шевеля плечами, за ней вторая, третья. Они плясали вполпляса – плыли – как при старике, когда он бывал трезв и скупен. Дворня, как в старые дни, собралась в кружок и издали глядела; все молчали, потому что при старике не были приучены к разговорам. Надежда Осиповна все смотрела в лорнет. Постепенно она оживилась, ноздри ее стали вздрагивать, а лицо покраснело. Девки, приученные к барским лицам, пошли быстрее. Погода была ясная, сквозная,

кругом все тихо. Надежда Осиповна, смотря в лорнет, неподвижно сидя на одном месте, плясала каждым членом – глазами, губами, плечами, ноздри ее вздрагивали. Она выслала девкам пирога. Скука прошла.

Посоветовавшись со стариком Вындомским, она распорядилась. Палашку сослала на птичий двор, гарем упразднила, а управляющим, по совету старика, назначила благородного свидетеля, прапорщика Затеplenского, который был крепок на руку и распорядителен. Он сразу же как из-под земли вырос со своим псом и временно занял под жилье баньку, как наиболее теплое помещение.

Провожала Надежду Осиповну до околицы вся дворня; две девки поднесли было передники к глазам, но быстро успокоились. Уезжала Надежда Осиповна с радостью, почти не веря, что через неделю будет плясать у Бутурлиных.

7

Повар Николашка, которого Марья Алексеевна оставила Надежде Осиповне до весны, сбежал.

Он был видным лицом в пушкинской дворне. Разговаривал неохотно и мало, был молчалив и чисто брит. На него не кричали; раз Марья Алексеевна хотела дать ему пощечину – гусь сгорел – он повел на нее бесцветными и пустыми, как стеклянные бусы, глазами, и она не осмелилась. Девки его уважали и звали за глаза Николаем Петровичем.

В противоположность Никите, который пил понемногу, но часто, так что всегда бывал весел, Николай Петрович не касался вина.

Незадолго до приезда Надежды Осиповны Сергей Львович подсчитал свой проигрыш и решил обелиться перед супругой. Он не сомневался, что проигрыш откроется. Так он стал искать вора. Вскоре вор был найден – у Николашки ушло непомерно много денег; ссылаясь на то, что собственное масло прогоркло, а говядина и дичь с душком, он покупал в лавочке и т. д.

Сергей Львович призвал его и, стараясь привести себя в ярость и брызгаясь, назвал его вором. Николашка смолчал, Сергей Львович быстрее обыкновенного ушел со двора.

Вечером Александр, проходя в девичью, услышал в людской пение. Он приоткрыл дверь. За столом сидел Николай, бледный, в новом сертуке, перед ним стоял пустой штоф. Он пел долгую, однотонную песню, без слов. Это был как бы вой, тихий и протяжный.

Пустыми, ясными глазами он посмотрел на Александра и ухмыльнулся. Он подмигнул ему и свистнул.

– Вы, Пушкины, – сказал он медленно, – род ваш прогарчивый. Прогоришь! Ужо тебе! Он стал медленно подниматься. Александр испугался и попятился.

Через два дня Николай ушел и не вернулся. Вся дворня ходила молчаливая. Сергей Львович заявил в полицию и необыкновенно оживился. Он всем рассказывал о грабеже и побеге. Заехавшая вечером тетка Анна Львовна долго крестилась, когда узнала, и перекрестила Сергея Львовича – Николашка всех зарезать мог.

Вечером Александр спросил Арину, куда ушел Николай.

С некоторых пор он взял себе за правило ничего не бояться, но неподвижный, пронзительный Николашкин взгляд и негромкий вой, который был русскою песнею, действовали на него необъяснимо.

Арина развела руками:

– В Польшу. Куда ему идти? Все разбойники в Польшу уходят. Сунул нож в голенище – и ищи ветра в поле! А потом смотришь и объявился – пан, бархатный жупан.

И вскоре приехала Надежда Осиповна.

8

Надежда Осиповна с самого начала почуяла недоброе; ее удивило и уязвило, что как будто все без нее прекрасно обходилось. От дома она отвыкла и не узнавала его.

Николашка сбежал из-за Сергея Львовича, это было ясно. По глазам было видно, что Сергей Львович во многом виноват; денег в доме совсем не было. Сергей Львович все валил на мерзавца Николашку – *se faquin de Nicolachka*,³⁰ плутовок-девок – *ces friponnes de Grouchka et de Tatianka*³¹ и на скверного Никишку – *se coquin de Nikichka*.³² Вскоре, однако, все открылось: получена шутивая записка от одного из юных негодяев с приглашением прибыть в известное святилище Панкратьевны; записка, по несчастной случайности, попала в руки Надежды Осиповны.

Этот день был страшен; дети попрятались, дворни – как не бывало. Надежда Осиповна сидела за столом сам-друг с Сергеем Львовичем и молча била посуду. В гневе она была страшна, лицо ее становилось неподвижно, не белое, а белесое, тусклое; глаза гасли, губы грубели и раскрывались. Она бросала наземь тарелку за тарелкой. Когда полетел графин Сергея Львовича и вино полилось по полу, он, дрожа от страха, обиды и гнева, внезапно разъярился, ошетинился и щелкнул со стола рюмку. Это было неожиданностью для Надежды Осиповны.

– Ах, вы бьете посуду? – сказала она, бледная, спокойная и страшная. – Бейте ее *chez votre Pankratievna*.³³ – Глаза ее забегали, красные жилки налились в них.

Сергей Львович медленно встал и закинул голову. Во всей фигуре его было необыкновенное достоинство. Надежда Осиповна, окаменев, смотрела на него

– *Mon ange*, – сказал он тонким голосом, еле переводя дух, но уже с торжеством, – я еду на войну, на поле сражений.

Надежда Осиповна смешалась. Она посмотрела на битую посуду; поведение супруга озадачило ее. Она боялась и мысли о том, что Сергей Львович станет военным, – тогда ее власти как не бывало, а его к обеду не дождешься. Притом мысль о том, что она останется вдовою с кучей ребятишек, пугала ее; с другой стороны, если Сергей Львович действительно собирался на войну, это отчасти оправдывало его действия у Панкратьевны. Все военные вольно вели себя. Сергей Львович перевел дух. Быстрой походкой он направился в переднюю, громко велел казачку подавать шинель и пошел со двора – может быть, определяться в какой-нибудь полк.

Надежда Осиповна верила и не верила. Она бесилась на мужа, который играет перед нею такую недостойную комедию, и на себя, что довела его до отъезда в действующую армию. Больше же всего на то, что он, провинившись, остался победителем, а она в дурах.

Надежду Осиповну словно ветром понесло в девичью. Девки сидели не дыша. В углу она вдруг заметила Александра и широко открыла глаза. В ее отсутствие и у мужа и у сына завелись новые привычки. Она схватила его за ворот и почти понесла в комнаты.

У порога своей спальни она столкнулась с Ариною. У Арины было бледное лицо, спокойное, и глаза как бы сразу выпвели и ввалились.

Надежда Осиповна толкнула ее плечом, Арина охнула и прислонилась к косяку.

– Тварь! – сказала Надежда Осиповна, не смея взглянуть на нее.

Потом Арина отошла от дверей и пропустила мать с сыном.

³⁰ Этот негодяй Николашка (фр.).

³¹ Эти плутовки Грушка и Татьяна (фр.).

³² Этот мошенник Никишка (фр.).

³³ У вашей Панкратьевны (фр.).

Когда дверь за ними закрылась, она еще немного постояла.

– Розог! – крикнула Надежда Осиповна.

Арина перекрестилась и пошла. В людской она села на скамью, прямо и сложа руки на коленях. Уже бежал казачок с розгами на барынин зов; она еще больше побелела и взялась рукой за сердце.

Надежда Осиповна била сына долго, пока не устала. Сын молчал. Потом, отдышавшись, она бросилась в подушки и заснула, усталая. Арина долго еще сидела в темной людской. Потом она пошарила в своем сундучке, нашла пузырек, отпила; полегчало немного; она еще выпила; потом до дна. И только тогда, уже пьяная, качаясь из стороны в сторону, заплакала скупыми, мелкими слезами.

Глава шестая

1

Ни осенью, ни зимою Сергей Львович на войну не пошел. Война шла теперь и с французами и с турками. Старики московские говорили о ней резко. Наполеон побеждал; государь, по известиям, плакал. Главнокомандующий, старец генерал Каменский, в каждом донесении молил его уволить, а вскоре, по слухам, и вправду бежал из армии.

Оды писались и печатались ежедневно; многие из них были посвящены градоначальнику, а под конец всем прискучили. Сергей Львович остыл вместе со всеми.

Между тем в Москве шли маскарады, и на одном из них Сергей Львович и Надежда Осиповна были свидетелями забавной драки, происшедшей между двумя приятелями за прекрасную мадам Кафка; оба вцепились друг другу в волосы. Это было до крайности забавно, но они мало смеялись, потому что были в ссоре.

Зимою был взят к Александру гувернер. Долго выбирали, и наконец Александра взялся воспитывать не кто иной, как сам граф Монфор. Впрочем, это был уже не прежний Монфор: нос его заострился и покраснел, панталоны всегда засалены, убогое жабо трепалось у него на груди; он был по-прежнему любезен, но почти всегда слишком весел и болтлив. По вечерам он играл немного на флейте. Спал он в одной комнате с Александром, и мальчик подружился со своим воспитателем. Шалости Александра француз охотно прощал.

Они много гуляли по московским улицам и садам, и воспитатель при этом лепетал, говорил без умолку. Вскоре Александр узнал о скандальных и забавных историях французского двора, начиная с маркиза Данжо.

Вставая поутру, француз пил целебный бальзам, после чего веселел; пил его и вечером, если не играл на флейте; с удовольствием рисовал на клочках бумаги все, что приходило на ум, чаще всего головы и ножки парижских его подруг; профили были похожи один на другой, а ножки были разные.

Однажды он рассказал мальчику о всех славных поединках двух царствований. Поставив его перед собою на расстоянии трех шагов, он учил его обороняться. Шпаг у них не было, но Монфор пришел в такой азарт, что крикнул Александру:

– Вы убиты!

Вообще он часто рассказывал Александру о парижском свете, театре, а раз, выпив бальзаму, свесил голову и заплакал.

2

Весною всей семьей поехали к бабушке Марье Алексеевне в Захарово. Михайловское было далеко, все там не устроено, и никто их не ждал.

Это была первая дорога и первая деревня в его жизни. Ямщик на козлах пел одну и ту же песню без конца и начала, стегал лошадей, потом пошли полосатые версты, редкие курные избы и кругом холмы, поля и рощицы, еще голые и мытые последними дождями. Он жадно слушал всю эту незнакомую музыку – песню колес и ямщика – и вдыхал новые запахи: дегтя, дыма, ветра. Черные лохматые псы, заливаясь и скаля зубы, лаяли.

Это была столбовая дорога, которую иногда бранили отец и дядя, – холмистая, грязная, с пустыми сторожевыми будками; помещичьи дома белели на пригорках, как кружево.

Александру в пути никто не докучал наставлениями. Француз под действием дороги или бальзама дремал.

Езда полюбилась Александру – он не слезал бы с брички; всех трясло и подбрасывало на ухабах.

Надежда Осиповна молчала всю зиму.

Сергей Львович, зная, что не получит ответа, и все же надеясь, сладким голосом быстро ее спрашивал:

– Где, душа моя, книжка Лебренья, помнишь, маленькая, я еще намерен ее читать – не могу найти, Александр не взял ли? – встречал чужой взгляд и полное молчание. Даже то, что Александр взял эту книгу, не занимало ее. Она умела молчать. Сергей Львович томился и таял, носил ей подарки, принес даже раз фермуар на последние; не то старался привлечь внимание другим – говорил за обедом, что дичь протухла, со вздохом отодвигая тарелку, не ел дичи. Дичь была своя, мороженая и действительно протухшая, но Надежда Осиповна молчала. Сергей Львович разговаривал с нею единственно вздохами, и вздохи его были разнообразны: то тихие и глубокие, с пришептыванием, то громкие и быстрые.

В пути они заметно стали друг к другу ласковее. Перед самым Захаровым Надежда Осиповна опять надулась; у Звенигорода Сергей Львович умилился: на балконе сидела барышня и пела весьма тонким голосом:

Коль надежду истребила
В страстном сердце ты моем...

Лицо у Надежды Осиповны вдруг пошло пятнами, глаза потускнели, грудь сильно дышала. Она, не отрываясь, жадно смотрела в лицо Сергею Львовичу. Он заметил ее взгляд, сжался, отвернулся и сказал беззаботно ямщику:

– Погоняй, погоняй – заснул!

Жена его в ревности была страшна, рука у нее была тяжелая.

Заметив, что пение понравилось Сергею Львовичу, Надежда Осиповна сказала сквозь зубы:

– Какая старая! Точно комар.

В Захарове вся семья разбрелась в разные стороны. Сергей Львович с французской книжкой в руках гулял в рощице. Рощица была невелика, но туда девки ходили по ягоды. Надежда Осиповна сидела над прудом и часами смотрела на воду. Что именно привлекало ее внимание, оставалось загадкой для двора. Александр же с гувернером бродили по дорогам. Марья Алексеевна разводила руками:

– Все врзть!

Дети жили в дряхлом флигеле, в стороне от господского дома. В большой комнате помещалась Олинька с младшими, у Александра и Николая с гувернером была особая комната.

Олинька, востроносая, желтенькая, миловидная, была ханжой. Тетка Анна Львовна научила ее молиться утром и перед сном за папеньку, маменьку, братца Николинку, братца Лелиньку и братца Сашку. Олинька была в дружбе с Николинкой, она с утра бегала в боль-

шой дом приласкаться к бабушке и матери, и Николинька с нею. Она с нетерпением семенила тонкими ножками, пока ее не замечали, и сразу приседала. Бабушка, которая однажды видела, как Олинька молилась, ожидая одобрения, осталась недовольна:

– Вся эта богословия Аннеткина да Лизкина – Бог с ней. Мироносицы!

Николинька был любимец отца; с острым пушкинским носиком, который он уже потцовски вздергивал, когда горячился, вспыльчивый и слабый. С Александром он, случалось, дирижировал и бегал на него жаловаться отцу, который, в свою очередь, жаловался матери.

Ссора родителей была на руку Александру – его с Монфором на время забыли. Только бабка брала его за подбородок, смотрела долго, серьезно ему в глаза и, потрепав по голове, растерянно вздыхала.

Из его окна виден был пруд, обсаженный чахлыми березками; на противоположной стороне чернел еловый лес, который своею мрачностью очень нравился Надежде Осиповне – он был в новом мрачном духе элегий – и не нравился Сергею Львовичу. Господский дом и флигель стояли на пригорке. Сад был обсажен старыми кленами. В Захарове везде были следы прежних владельцев – клены и тополи были в два ряда: следы старой, забытой аллеи. В роще Сергей Львович читал чужие имена, вырезанные на стволах и давно почерневшие. Часто встречалась на деревьях и старая эмблема – сердце, пронзенное стрелой, с тремя кружками – каплями, стекающими с острия; имена были все расположены парами, что означало давние свидания любовников.

Захарово переходило из рук в руки – новое, неродовое, невеселое поместье. Никто здесь надолго не оседал, и хозяева жили как в гостях.

Сергей Львович впадал в отчаяние от всей этой семейственной меланхолии и помышлял, как бы удрать.

Только бездомный Монфор чувствовал себя прекрасно: свистал, как птица, равнодушно и быстро рисовал виды Захарова, всё одни и те же – зубчатый лес, пруд, похожий на все пруды, а на месте господского деревянного дома – замок с высоким шпилем. Он часто водил Александра в Вяземы, соседнее богатое село, где каждый раз обновлял запас своего бальзама. Говорливые крестьянки здоровались с барчонком; в селе много уже перевидали захаровских владельцев. Стояла в Вяземах, накреньясь, колокольня, строенная чуть ли не при Годунове, рядом малая церковь, но даже старики не знали, кто их строил и что раньше здесь, в Вяземах, было.

Умирая от безделья, Сергей Львович вздумал в праздник всею семьею поехать в Вяземы к обедне.

Дряхлая колымага, которая привезла Пушкиных в Захарово, загромыкала по дороге, грозя рассыпаться. Бабы с удивлением присматривались к барам и отвечивали низкие поклоны.

– Вот коляска, что колокол, – говорили они, когда Пушкины проезжали.

Колокол в Вяземах был разбитый.

Сергей Львович во время службы заметил бледную барышню, соседскую дочку, и украдкой метнул в нее взгляд, но барышня была пуглива и ускользнула незаметно. Сергей Львович остался недоволен сельским старым, полуслепым иереем, не выказавшим достаточного внимания к захаровским барам.

Вечером затеялся у него разговор с Монфором. Монфор полагал, что вера необходима для простонародья, но из духовных книг твердо знал одну: «Занятия святых в Полях Елисейских», а в ней более всего главу о маскарадах. Сергею Львовичу после вяземской церкви пришлось по душе суждения Монфора. Он решительно почувствовал себя маркизом. Вечер кончился тем, что Монфор прочел стихи Скаррона о загробной стране:

Tout pris de l'ombre d'un rocher

J'aperçu l'ombre d'un cocher,
Qui, tenant l'ombre d'une brosse,
En frottait l'ombre d'un carrosse.³⁴

Сергей Львович был в восторге и потрепал по голове сидевшего рядом Александра.

В Вяземах бывали базары столь шумные, что пьяные песни долетали до Захарова и огорчали Марью Алексеевну:

– Как на постоялом дворе, и никакого на бар внимания!

Она говорила это тихонько, втайне разочарованная своим новым помещьем. На захаровских помещиков окрестные мужики обращали мало внимания.

Александр и Николинька купались, слушали пенье иволги в кустах, ходили с Монфором в Вяземы обновлять запас бальзама, и однажды Александр, отстав, увидел чудесное явление: в реке купалась полногрудая нимфа, распустив волосы. Она то подымалась, то опускалась в воде. Сердце его забилося. Потом нимфу окликнули издалека:

– Наталья!

Она ответила кому-то звонко, приставив к губам ладони:

– Ау! – и снова стала подыматься и опускаться.

Вечером, в первосонье, кто-то поцеловал его в лоб.

Когда через два дня он встретил в рощице барышню в белом платье, с цветами в руках, он обомлел и почувствовал, что жить без нее не может и умрет. Монфор поклонился – это была барышня из соседней усадьбы. Он нетвердо знал ее фамилию – Юшкова, Шишкова, Сушкова, *quelque chose** на – ова.

Александр стал ходить в рощицу, она долго не являлась. Наконец он решил, что она гуляет там по вечерам, и, обманув бдительность Монфора, при свете луны прошелся по знакомой дорожке. Она сидела на скамье и вздыхала, смотря на луну. Тонкая косынка вздымалась и опускалась у нее на груди. Это была та прозрачная косынка и те бледные перси, о которых вместе с луною он читал в чьих-то стихах.

Она прислушалась; слышав шорох, закрылась веером и громко задышала. Увидя Александра, она удивилась и засмеялась; она точно ждала кого-то другого. Щеки ее пылали, платье было легкое. Она заговорила с Александром. Он хотел отвечать, но голос у него пропал, и он в смятении убежал.

3

Сергею Львовичу мирная жизнь в Захарове да и самое Захарово очертели. Он не был рожден для сельской тишины. Как-то он сказал за обедом, что должен спешить в Москву и если в Захарове задержится – карьер его потерян. Уехать, однако, ему не пришлось: в самый день его отъезда заболел Николинька и в три дня умер. Никто не был к этому приготовлен.

Когда хоронили брата, Александр смотрел по сторонам. Было теплое утро; малодушного отца под руки вели за гробом; Надежда Осиповна молча шла до самой церкви, никем не поддерживаемая. Олинька, глядя на отца, много плакала. Когда слезы не шли, она притворно и жалобно всхлипывала; ей в самом деле было жаль братца. Маленького Левушку несли на руках, но и он ничем не нарушал печального чина: он спал. Один Александр был равнодушен. Он вместе со всеми приложился к бледному лбу и не узнал того, кого еще неделю назад дразнил. Странное спокойствие мертвеца поразило его. Это была первая смерть, которую он видел.

³⁴ У тени скалы Я заметил тень кучера Который тенью щетки, Тер тень кареты (фр.).

Древний старик в сермяге сидел на паперти и опирался на посох. Он низко, истово кланялся, и медяки падали к его ногам.

Пение птиц и белая каменная ограда были для него в это утро новы. Древняя звонница у церкви стояла накренясь, угрожая падением. Довременная тишина и спокойствие были кругом; вяземские бабы теснились молча. Тут же у церкви Николиньку и погребли. Мать прижала Левушку к груди и так вернулась домой.

С этого дня Надежда Осиповна из всех детей замечала одного Левушку. Она не смотрела на Александра. Зато Сергей Львович теперь за него принялся.

Сергей Львович, ведя жизнь эфемера, не был подготовлен к несчастьям. Он ничего, кроме страха, не почувствовал и впал в удивительное малодушие. То болтал как ни в чем не бывало, то за обедом внезапно прыскал и разражался слезами. С горя он стал подолгу спать.

– *Que la volonté du ciel soit faite!*³⁵ – говорил он иногда с шумным вздохом и разводил руками.

Встревоженный и раздосадованный тем, что Александр не плачет, а также тем, что сам не всегда чувствует горе, Сергей Львович упрекал его в бессердечии и черствости. Надежда Осиповна, равнодушная ко всему, прислушивалась. Они примирились после смерти сына и сошлись взглядами на Александра и его поведение. Александр был холодный, бессердечный и неблагодарный; Монфор не имел на него влияния – *influence*, которого ожидали.

Не дождавшись осени, Пушкины выехали. В это утро Александр был особенно тревожен и перед самым отъездом пропал. Его нашли в роще; он сидел на земле, прижавшись к скамейке.

Загрохотала несчастная пушкинская колымага, рассыпавшаяся от сухости, немазаная, со стонущими колесами.

Бездомный француз, подкрепившись бальзамом, лепетал, сидя в одной телеге с Александром:

Oh! l'ombre d'un cocher!
Oh! l'ombre d'une brosse!
Oh! l'ombre d'un carrosse!³⁶

Глава седьмая

1

Рассветало, он просыпался. Ложный, сомнительный свет был в комнате. Белели простыни, Левушка дышал, Монфор сопел. Он прислушивался. Слух у него был острый и быстрый, как у дичи, которую поднял охотник. Медленно скрипела по улице повозка – ехал водовоз. Наступала полная тишина – раннее утро.

Он быстро сползал с постели и бесшумно шел, минуя полуоткрытые двери, в отцовский кабинет. Босой, в одной сорочке, он бросался на кожаный стул и, подогнув под себя ногу и не чувствуя холода, читал. Давно были перелистаны и прочтены маленькие книжки в голубых обертках. Он узнал Пирона. В маленькой истрепанной книжке была гравюра: толстый старик с тяжелым подбородком, плутовскими глазами и сведенными губами лакомки. Он сам написал свою эпитафию: «Здесь лежит Пирон. Он не был при жизни ничем, даже академи-

³⁵ Да свершится воля неба! (фр.)

³⁶ О, тень кучера! О, тень щетки! О, тень кареты! (фр.).

ком». Отчаянная беспечность этого старика, писавшего веселые сказки, смысл которых он уже понимал, понравилась ему даже более, чем шаловливый и хитрый Вольтер. Любимым героем его был дьявол, при одном упоминании о котором тетушка Анна Львовна тихонько отплевывалась. Однако дьявол у Пирона был превеселый молодец и ловко дурачил монахинь и святых. С огорчением он подумал, что в Москве нет человека, похожего на этого мясистого поэта.

Ему нравились путешествия. Он любил точность в описаниях, названия городов, цифры миль: чем больше было миль, тем дальше от родительского дома.

На столе у отца лежали нумера «Московских ведомостей», которые получались дважды в неделю. Он читал объявления. Названия вин, продававшихся в винной лавке, – Клико, Моэт, Аи – казались ему музыкой, и самые звуки смутно нравились.

Русских книг он не читал, их не было. Сергей Львович, правда, читал журнал Карамзина, но никогда не покупал его.

На окне лежал брошенный том Державина, взятый у кого-то и не отданный; прочтя страницу, он отложил его.

Однажды заветный шкаф привлек его внимание: ящик был открыт и выдвинут, отец забыл его закрыть. Он заглянул. Толстый, переплетенный в зеленый сафьян том лежал там, пять-шесть книжек в кожаных переплетах, какие-то письма. Книги и сафьянный том оказались рукописными, а письма – стихотворениями и прозой. Прислушавшись, не идет ли кто, он принялся за них.

Все было написано по-русски, разными почерками, начиная со старинного, квадратного, вроде того, которым писал камердинер Никита, и кончая легким почерком отца. Тетради эти подарил Сергею Львовичу еще в гвардейском полку его дальний родственник, «кузен», гвардии поручик, который с тех пор куда-то сгинул; а потом уже Сергей Львович сам их дописывал. В тетрадях еще держался крепкий гвардейский дух табака.

Сафьянная тетрадь называлась: «Девическая игрушка», сочинение Ивана Баркова. Он отложил ее, твердо решившись прочесть со временем всю, и листнул тетрадь в кожаном переплете. Он прочел несколько страниц и, изумленный, остановился. Это было во сто раз занимательнее Бьеврианы с ее хитрыми каламбурами. На первой же странице прочел он краткие стихи, посвященные покойному императору Павлу:

Сколь Павловы дела премудры, велики,
Доказывают нам то невски голики...

На бюст его же:

О ты, премудра мать российского народа!
Почто произвела столь гнусного уroda!

Дальше следовали стихи о «свойствах министров»:

Хоть меня ты здесь убей,
Всех умнее Кочубей.
Лопухин же всех хитрей,
Черторынской всех острей,
Чичагов из всех грубей,
Завадовский – скупей,
А Румянцев всех глупей,
Вот характер тех людей.

Тут же был написан весьма простой ответ на изображение свойств министров:

Хоть меня ты убей,
Из всех твоих затей и т. д.

Простодушие стихов, их просторечие показались ему удивительно забавны. В них упоминались имена людей, о которых иногда вскользь говорили отец и дядя Василий Львович в разговорах скучных, после которых Сергей Львович всегда был недоволен, – разговорах о службе.

Послание к Кутайсову

Пришло нам время разлучиться,
О граф надменный и пустой;
Нам должно скоро удалиться
От мест, где жили мы с тобой,
Где кучу денег мы накрали,
Где мы несчастных разоряли
И мнили только об одном,
Чтоб брать и златом и сребром.

Ему нравились быстрые решительные намеки в стихах, в конце каждого куплета, хотя он и не все в них понимал:

И случай вышел бы иной,
Когда б не спас тебя Ланской.

Сатира на правительствующий сенат поразила его своею краткостью:

Лежит Сенат в пыли, седым покрытый мраком.
Восстань! – рек Александр. Он встал – да только раком.

Больше всего пришлась ему по душе длинная песнь про Тверской бульвар:

Жаль расстаться мне с бульваром,
Туда нехотя идешь...

Сначала говорилось о каких-то франтах, которых он не знал. И вдруг наткнулся он на имя Трубецких:

Вот Анюта Трубецкая
Слома голову бежит;
На все стороны кивая,
Всех улыбками дарит.
За ней дедушка почтенный
По следам ее идет...

Не было сомнения: это было написано о Трубецких-Комод – деде и тетке Николиньки. Стихи, написанные о знакомых, показались ему необыкновенными. А на другой стороне листка торопливым почерком отца была изображена элегия, в которой Александр узнал прошлогоднее стихотворение дяди Василья Львовича. Во всем этом была какая-то тайна.

Все почти в тетрадах было безыменное (только на сафьянной было имя: Барков), иногда только мелькали внизу таинственные литеры, но они не были похожи на подписи в письмах или бумагах.

Уже на двор из людской вышла сонная девка и, позевав, плеснула водой себе на руки, уже кряхтенье Монфора, собиравшегося выпить бальзаму, как будто раздавалось издали, а он, босой, в одной рубашке, читал «Соловья»:

Он пел, плутишка, до рассвету.
«Ах, как люблю я птицу эту! —
Катюша, лежа, говорит. —
От ней вся кровь в лице горит».
Меж тем Аврора восходила
И тихо-тихо выводила
Из моря солнце за собой.
Пора, мой друг, тебе домой.

И правда, была уже пора.

Он не чувствовал холода в нетопленной отцовской комнате, глаза его горели, сердце билось. Русская поэзия была тайной, ее хранили под спудом, в стихах писали о царях, о любви, то, чего не говорили, не договаривали в журналах. Она была тайной, которую он открыл.

Смутные запреты, опасности, неожиданности были в ней.

Зазвонил ранний колокол. Чьи-то шаги раздались. Ключ торчал в откидной дверце шкапа. Быстро он прикрыл ее, сжал в руке ключ и бесшумно пронесся к себе. Он успел еще броситься в постель и притвориться спящим. Сердце его билось, и он торжествовал. Монфор, пивший уже бальзам, погрозил ему пальцем.

2

В неделю тайный шкаф был прочтен. Всего страшнее и заманчивее был Барков.

По французским книжкам он постиг удивительный механизм любви. Тайны оказались ближе, чем он мог догадаться. Любовь была непрерывной сладостной войной, с хитростями и обманами; у нее даже были, судя по одной эпиграмме, свои инвалиды, которые переходили на службу Вакху. Но у Баркова любовь была бешеной, кабацкой дракой, с подножками, с грозными окриками, и утомленные ею люди, как загнанные кони, клубились в мыле и пене. В десять лет он узнал такие названия, о которых не подозревал француз Монфор. Он читал Баркова, радуясь тому, что читает запретные стихи; над тетушкой Анной Львовной, которая приказывала ему выйти всякий раз, когда Сергей Львович намекал за столом на чьи-то московские шалости, он смеялся, скаля белые зубы. Вообще в этом чтении была та приятность, что он стал более понимать отца. Он принимал войну, которую объявили ему отец, мать и тетка Анна Львовна.

Сергей Львович не заметил, что заветный шкаф не заперт. Все большая оброшенность была везде в доме; ничто не исчезало, все было на своем месте, но ему вдруг иногда казалось, что люди воруют, что кто-то залил его новый цветной фрак, и тогда, сморщив брови, он затевал бесконечные и тщетные споры и жалобы, кончавшиеся громкими вздохами и воп-

лями. Так как он не мог кричать на Надежду Осиповну, он кричал на Никиту, который к этому привык. Новый фрак был старый, а залил его сам Сергей Львович.

Александр уже шел десятый год. Ольге – двенадцать. Пришлось поневоле нанять учителя, потому что Монфор не мог со всем управиться. Учителю платили, его по праздникам приглашали к столу, а успехи были сомнительны. Поп из соседнего прихода, которого рекомендовала Анна Львовна, говорил, что Александр Сергеевич закона Божия не понимает и катехизиса бежит. Надежда Осиповна и Сергей Львович, которые тоже мало разумели катехизис, с немалым отчаянием смотрели на Сашку.

Кроме того, детей нужно было одевать, и это было сущим проклятием и для Сергея Львовича и для Надежды Осиповны. Покупать для Сашки и Ольки сукно на платье во французской лавке! Дети ходили в обносках. Арина кроила какую-то ветошь для Ольги, а Никита, который отчасти был портным, строил из старых фраков одеяния для Александра. Прохожий франт, зашедший в Харитоньевский переулок, до слез смеялся однажды над курчавым мальчиком в худых панталонах стального цвета.

3

Василий Львович вел светскую жизнь и шел в гору. Парижское путешествие поставило его в первый ряд литераторов; наезжавший в Москву молодой, но сразу ставший известным Батюшков подружился с ним. Очень часто говорили: Батюшков и Пушкин, а иногда даже: Карамзин, Дмитриев, Батюшков и Пушкин. Пирушки его вошли в моду. Повар Блэз готовил пирожки, а Василий Львович заготавливал шарады и буриме. Гости охотно смеялись и ели, а Сергей Львович, измучась постной жизнью, находил у брата все то, что по существу могло и должно было быть и его жизнью. По вечерам Василий Львович лобзал Аннушку и трудился над экспромтами. Аннушка все хорошела, родила дочку, которую Василий Львович нарек Маргаритою и за которую друзья беспечно чокнулись, сшибая стаканы. Цырцея была забыта. С кудрявой головой, в парижском фракке, с экспромтами в карманах палевых штанов, он бросался в московский свет, картавил напропалую, как в Пале-Рояле, а ночью падал без памяти в теплые объятия Аннеты, то есть Аннушки.

Время вполне способствовало этому. Все были на поводу у французов, которых вчера еще ругали. Царь ездил в Тильзит и Эрфурт на свидание с Наполеоном («на поклон», как говорили в Москве, а старики даже ехидничали: «к барину»), и все разделились на партии: молодые «ветрогоны» были очень довольны этим порядком вещей, а старики негодовали; в одной молодой компании старого генерала, который вздумал назвать Наполеона «Буонапарте», все покинули, и старец, опираясь на костыль, сам принужден был кликнуть своего лакея.

У дам московских Василий Львович имел громкий успех.

– Oh, se volage de³⁷ Василий Львович! – говорили они и грозили ему пальцем, отчего он сразу сопел, таял и ерошил надушенную голову.

Аристократия, и старая и новая, давно махнула рукой на все русское, была на отлете и единственным местом, достойным благородного человека, почитала международные странствия. Иезуиты учили в петербургском пансионе молодых Гагариных, Голицыных, Ростопчиных, Шуваловых, Строгановых, Новосильцовых латынским молитвам и французской божественной философии. Барыни принимали спешно католицизм. Аббаты мусье Журдан и мусье Сюрюг были их наставниками. Соседский сынок, Николинька Трубецкой, тоже теперь отвезен был к иезуитам в Петербург.

³⁷ О, этот ветреник (фр.).

Сергей Львович с удовольствием прислушивался к французскому говору сына. Василий Львович полюбил с ним подолгу разговаривать – говоря с ним, он словно чувствовал себя на бульваре Капуцинок.

Московские старики шли, впрочем, на примирение. Они более не имели веса в Петербурге, были в отставке и небрежении и поэтому в оппозиции. Вскоре они принуждены были отнестись со вниманием к новому гению.

Он был близок к славе и упивался ею. Он был приглашен к Хераскову, московскому Гомеру, ныне жившему в отставке. В старинной гостиной, в полной тишине, прочел Василий Львович свое подражание Горацию – обращение к любимцам муз. Хозяин дома, названный в этом стихотворении Вергилием, знал его заранее и одобрял.

Где кубок золотой? Мы сядем пред огнем!
Как хочет, пусть Зевес вселенной управляет!

Это вольнодумство восхитило всех старичков – пускай там в Петербурге управляют без них вселенною, как хотят! Где кубок? Василий Львович читал с присвистом и, как Тальма, с сильным, но быстро преходящим чувством.

Где лиры? Станем петь. Нас Феб соединяет,
Вергилий русских стран присутствием своим
К наукам жар рождает!

Эти науки были – университет московский, куратором которого состоял хозяин, а не пиитический вымысел.

Херасков видимо затрепетал, седины его зашевелились. Бывшие в доме дамы все как одна обратили свои взгляды к нему.

И я известен буду в мире! —

бодро произнес Василий Львович.

О радость, о восторг! И я... и я пиит!

Он совершенно обессилел и отер платком лоб. Вергилий подымался в своих креслах. Все дамы, присутствовавшие на вечере, знали: сейчас поцелуем своим он передаст лиру Василью Львовичу.

Но тут Василий Львович ощутил в руке вынутый вместе с платком из кармана экспромт. Восторг охватил его. Экспромт удался ему вчера, как может удался только раз в жизни. Он почувствовал, что сделал все для прославления Гомера и Вергилия, и ему захотелось прочесть что-нибудь приятное и легкое для улыбки дам – обращение к любимцам муз было, может быть, несколько высоко для них. Не видя поднявшегося Хераскова, он сделал знак рукою. Все притихли. Поэт стал читать. Так важный миг был пропущен: Херасков снова уселся в кресла. Впрочем, услышав название, он принял вид благосклонный. Увлечение стихотворца! Он узнавал его! Поэт читал свое «Рассуждение о жизни, смерти и любви».

С первых же строк произошло замешательство.

Чем я начну теперь? Я вижу, что баран
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан;
Известно вам, друзья, что галка – не фазан,

Но вас душой люблю, и это не обман.

Василий Львович, чувствуя, что сейчас милые женщины и сам Гомер-Херасков улыбаются, читал далее свое буриме:

...Что наша жизнь? – роман,
Что наша смерть? – туман,
А лучше что всего? Бифштекс и лабардан.
А если я умру, то труп мой хищный вран
Как хочет, так и ест...

Выпучив черные глаза и надувшись, сидел старец Херасков, московский Вергилий, пригласивший к себе для чтения нового гения.

...Смерть лютый зверь – кабан...
...Могила не диван,
И лезть мне в чемодан...

Тут все московские дамы, из нежных и знающих литературу, бывавшие на вечерах у Хераскова, разом и вдруг прыснули. Чтец был счастлив. Медленно, опираясь дрожащею рукою на свою трость – посох, старый поэт поднялся в негодовании. Щеки его покраснелись, как у дитяти. Он залпом выпил стакан холодной воды – кубок – и покинул свою залу, не только не передав своей лиры, но даже не простившись.

Назавтра старый поэт отозвался холодно о Василье Львовиче:

– В голове туман.

И прибавил неожиданно:

– И завит, как баран.

4

Соперничество братьев кончилось. Один был в блеске и славе, признанный поэт и московский ветреник; другой опускался, в неизвестности, и, как говорила молодежь: раб Гимена, под пантуфлею.

Два известные чудака составляли всегдашнее общество Василья Львовича: кузен Алексей Михайлович Пушкин и князь Петр Иванович Шаликов. Один был вольтерьянец и насмешник самого острого свойства, другой, с косматыми бровями, – меланхоличен, нежен и вместе вспыльчив до бешенства. Первый одевался небрежно, второй щегольски и всегда носил цветок в петлице. Оба были в высшей степени оригиналы. Втроем с Васильем Львовичем они появлялись во всех гостиных и возбуждали общее внимание. В особенности сблизился Василий Львович с кузеном, подтрунивавшим над ним, они оба были как бы дуэт; их так и звали: «оба Пушкина». Сергей Львович был лишний в этом дуэте, его, если он где-либо появлялся, звали: «брат Пушкина», собственное бытие и имя Сергей Львович утратил. Он чувствовал это во всем, в том, как его осматривали в лорнет, как представляли. Он стал избегать мало-помалу «обоих Пушкиных» и норовил попасть на такой вечер или детский праздник, где их не было. Надежду Осиповну замечали, о ней шептались московские старухи, показывали на нее друг другу глазами, и Сергей Львович на минуту обретал прежнюю независимую походку. Втайне «брат Пушкина» мучительно ревновал брата к Алексею Михайловичу и завидовал братней славе. Он злобствовал и охладевал, теряя милые черты, а свет этого не прощал.

Василий Львович был очень рассеян, подобно всем московским поэтам, он догадывался последним о том, что было для всех ясно. Положение старшего брата льстило ему. Но когда Сергей Львович перестал являться в домах, где бывал ранее, он обеспокоился. Тут только он оценил выражение «раб Гименея» и почувствовал братнее падение в глазах общества. Будучи от природы косоглаз и быстр, он мало обращал до сих пор внимания на всех этих Sachka и Lolka, которые прыгали в комнатах брата. Как-то он увидел одного из них наряженным в странный костюм, изделия домашнего портного, придававший юнцу вид шута, d'un bouffon. Он рассмеялся тогда:

– Oh, c'est un franc original.³⁸

Теперь он вдруг призадумался. Судьба Сергея до сих пор мало занимала его, но Пушкины должны везде быть приняты и блистать. Легкая неудача у старика Хераскова вовсе его не опечалила – ныне все были на отлете, полуфранцузы, и на мнение закоснелых старцев он чихал. Он стал чаще бывать у брата и заставил себя обратить внимание на Сашку и Лельку – ранее он путал их. Лелька, еще младенец, оказалось, обладал редкою памятью. Василий Львович прочел однажды в его присутствии один из своих экспромтов, и Лелька тотчас все повторил:

Мы, право, весело здесь время провожаем:
И день и ночь в бостон играем,
Или всегда молчим, иль ближнего ругаем...
Такую жизнь почесть, ей-богу, можно раем...

Беспримерная, быстрая память! Это обещало в будущем стихотворца. Тогда к «обоим Пушкиным» впоследствии мог прибавиться третий, юный наперсник. На Василья Львовича произвел большое впечатление мадригал, который сказал «обоим Пушкиным» один француз на балу у старухи Архаровой:

– Имя Пушкиных благоприятствует остроумию – esprit – и любви к словесности в вашей стране.

Лелька был резов, Сашка упрям и дик. Впрочем, сестрица Аннет была, кажется, слишком строга к нему. Братец Серж тоже был в детстве несносен; авось и этот образуется; в нем иногда приметен здравый смысл.

5

Родители кочевали по гостиным. Здесь, дома, были только обрывки их существования. Дом был для них как бы постоянным двором, где можно дремать, зевать, ссориться, кричать на девок, на детей и наконец расположиться на ночлег. Они не догадывались, что этот дом и это существование было жизнью их детей и слуг.

Александр любил час перед выездом. Он присутствовал при вечернем туалете отца. Сергей Львович одевался в кабинете. Старый, славный франт просыпался в нем. Быстро чистил он ногти пилкой и щеточкой, наблюдал, как Никита горячими щипцами завивал ему волосы а-ля Дюрок, управлял его движениями и делал весьма дельные и тонкие замечания. Потом, плотно обдернув новый фрак, он прохаживался по комнате, принимая разные выражения и цедя отдельные отрывистые слова. Мимоходом он взбивал волосы перед зеркалом и, увидя перед собой Александра, говорил фальшиво и снисходительно, с удивлением, относившимся к кому-то другому:

– А! И вы здесь?

³⁸ О, это настоящий оригинал (фр.).

И вылетал, шелкнув каблуками, из кабинета.

И вдруг все затихало. Мать выходила с блестящими глазами, быстро и легко. Отец, тоже нарядный, обращался с ней почтительно и небрежно, как с какой-то другой женщиной. Раз в полуоткрытую дверь Александр увидел, как отец, уже нарядный, завитой и напысканный, дожидаясь матери, напевая тоненьким голоском какой-то мотив и не зная, что за ним наблюдают, вдруг стал, что-то лепеча и улыбаясь, плавно приседать. Он танцевал. Вышла мать – как всегда перед вечером, с быстрым дыханием и блестящим взглядом. Отец, все так же плавно приседая, подхватил ее, и она тоже готовно и покорно поплыла рядом с ним на своих быстрых коротких ногах, сильно дыша тяжелой грудью. Потом мать остановилась, и они уехали.

В девичьей пели протяжную песню, Арина вздыхала и тихонько ворчала; в комнатах было холодно – топили редко, скупилась, дрова были в Москве дороги.

Иногда он спрашивал отца, куда они едут. Отец отвечал неохотно, цедя слова:

– К старику Белосельскому.

К старику Белосельскому, доживавшему свой век шумно и разнообразно и уже давно разорившемуся, ездили все.

– К Бутурлину.

Бутурлин был старый знакомый.

Голос сына был ему в такие минуты неприятен – отрывистый и резкий, и самые вопросы он почитал неприличными. Он ревниво оберегал от сына светские тайны. Но сын знал: это был свет чудесный, непроницаемый.

6

Но было и в этом холодном доме и в этой кочевой семье время, когда все менялось, получало свой запах, цвет, вкус и значение. Это была зима.

Первый снег производил впечатление неотразимое.

Арина входила в комнату с важным выражением.

– Снег на сонных напал, – говорила она сокрушенно.

Снег выпал ночью, когда все спали.

– К чему бы это, – говорила неуверенно Надежда Осиповна. Она смерть боялась всяких примет и верила им безусловно. Арина слыла у Аннибалов смолоду плясуньей и певуньей, а потом – первой гадалкой.

– Зима тяжелая будет, – говорила тихо Арина.

Дети приумолкали. Сергей Львович тревожился и возражал:

– Как и чем она может быть тяжела?

– Снегу много будет, – говорила Арина нехотя.

– Все вздор, – говорил Сергей Львович, бледнея.

– Разумеется, вздор, – повторяла в отчаянии Надежда Осиповна, чувствуя, что Арина недоговаривает.

К обеду первый лед оказывался крепким, не ломким по краям, и год объявлялся крепким. А снег, напавший на сонных, был только к большому снегу – и более ничего. Все веселели.

Нянька Арина знала многое, чего не знали родители, которые явно ее робели. Суеверная радость наполняла дом, и Александру втайне хотелось, чтобы нянька была права, чтобы зима оказалась тяжелая.

Белые хлопья покрывали черный, всеми к осени забытый и оставленный садик. Улица белела. Рано зажигались огни, в печке трещал десятками голосов огонь. Свечи горели осо-

бенно ясно, а дыхание, треск и шелканье разгорающихся дров заполняли комнаты. В камине тлели сизые угольки.

А там – наступали святки, плясала по улицам метель, звенели бубенцы, мчались тройки, гусары пролетали в розвальнях, смеялись и пели песни. Наступало время гаданий.

У Надежды Осиповны сон был всегда дурной и чуткий. Сергей Львович спал сном младенца, насвистывая носом одну бесконечную жалостную мелодию. К зиме учащались сны. Каждую ночь Надежде Осиповне снилось что-нибудь. В доме водился затрепанный том славянского письма, с черным Соломоновым кругом, к которому Александр питал суеверный страх. Это был толкователь снов мудреца Мартына Задеки – сонник. Каждый сон имел свое значение. Сны у Надежды Осиповны были длинные, путанные, и если начало сна сулило разорение и обман, то конец его предвещал нечаянное богатство. Сергей Львович тоже видел сны, но как ни пытался их запомнить, всегда забывал. Только однажды удалось ему запомнить: он видел во сне старую адмиральшу Аргамакову. Надежда Осиповна раскрыла вещую книгу. Старуха сулила неприятности и обман друзей. Тогда она посмотрела на «адмиральшу» – и сон был разгадан. Адмиральшу видеть – сказал ей сонник – к ласкам. И сон Сергея Львовича сбывлся.

Вообще сны Сергея Львовича были гораздо хуже и беднее, чем сны Надежды Осиповны. Иногда было трудно даже понять их значение. Раз во сне назвал он Надежду Осиповну каким-то посторонним женским именем и был к ней особенно ласков. Он было снова сказал, что видел во сне адмиральшу, но уж ему не верили. Долго потом он клялся, что все это поспритчилось Надежде Осиповне, что он назвал ее, как всегда, – Nadine, и не мог убедить. Две недели был он презрен, и только выезд в свет рассеял гнев Надежды Осиповны.

В сны свои Надежда Осиповна верила. Раз вышло ей свиданье с старинным любовником, слезы, клятва, быстрый отъезд, дальний путь. Она проплакала весь день и часть ночи не спала. Сергей Львович, вздыхая, так и не осмелился спросить, кто таков старинный любовник. Надежда Осиповна и сама этого достоверно не знала – может быть, это был гвардеец, с которым было у нее тайное свиданье еще задолго до Сергея Львовича, свиданье, едва не кончившееся катастрофою. Впрочем, вряд ли могло это быть. Он был давно женат и горький пьяница, а Надежда Осиповна никогда о нем не думала. Надежда Осиповна не знала, кто бы это мог быть, и плакала. Прошел месяц, два, и старинный любовник не явился; но все же он мог явиться, сны никогда не лгали. Подмена сна другим, подтасовки допускались.

Так они изменяли и дополняли жизнь своими снами.

Иногда Надежда Осиповна после таких снов вдруг загоралась непонятым азартом, девки переставляли столы, гремели и скрежетали передвигаемые шкапы, расположение комнат менялось, как будто они переехали в другой дом, другой город.

Ничто в их жизни не менялось, и никуда они не переезжали.

Арина садилась с замусоленной колодой карт, вид которой всегда производил приятное волнение в Сергее Львовиче, давшем зарок не играть. Все вистовые онеры чередой выходили перед ним.

– Для дома, для сердца, что сбудется, что минется, чем сердце спокоится.

Сбудется, выходило, дорога, а сердце спокоится хлопотами. Если выходил черный туз острием кверху, Надежда Осиповна без дальних разговоров смешивала карты, и Арина начинала снова. Для сердца выходил бубновый король, еще молоденький, а сердце успокаивалось деньгами и письмом из казенного дома. Может быть, какое-нибудь наследство? Так решалась судьба, так ее обманывали.

Монфор, приняв вид меланхолический, просил вежливо Арину погадать и ему, и Арина нагадала мусье опасность и бой от червонного короля.

Монфор не на шутку рассердился, когда ему перевели, и более не гадал.

Затаив дыханье, Александр сидел в уголке и следил за нянькиными умелыми руками. Лица родителей менялись – то бледнели, то улыбались. Такова была судьба.

Девки гадали и страшнее, и покорнее, и печальнее.

Однажды он видел их гаданье. Родители уехали со двора, Арина проводила их. Монфор выпил своего бальзама и поднес стаканчик Арине.

– Слаб ты на ноги стал, мусье, – сказала Арина, поблагодарив, – все балзам да балзам.

В этот вечер было все тихо, братца Лельку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушко Александру, что сегодня будет гаданье, чтобы он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В сенях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Монфор. Монфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у Александра билось.

Арина шла двором, по скрипучему снегу; он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо, сурово сказала:

– Девки, выходите.

Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждая свой сапог далеко за ворота.

– Шалые, – сказала строго Арина, – нешто так здесь гадают, в городе? Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь – все Москва. Покрадут ваши сапоги, вот тебе и все гаданье. Бери сапоги со снега, дуры вы, горе с вами. Мне и отвечать. Здесь по голосу гадать.

Тут она только заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям.

– Не то пропаду я с вами, старая дура, – Лев Сергеич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе.

Девки застыдились и не хотели гадать при барчонке и учителе.

– Александр Сергеич еще дите, – сказала Арина, – при нем можно, а мусье блажной и не нашей породы. При них можно.

И девки рассыпались по переулкам.

Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий, чистый, drobный колокольчик – летели сани, летели и пропали.

Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась.

– На сторону пойдешь, – сказала Арина одобрительно, – колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще.

Загадала Грушка – и вскоре из переулка послышался разговор и смех, три молодца шли, смеялись вполпьяна, и один говорил: «Ух, не робей!» – увидев девушек, засмеялись, один запел было и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался.

Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом.

– Ничего, разговор хороший, не со зла, – сказала Арина, – к большому разговору это, надо быть, к сговору. Голос хороший. А что ругался – так без сердца.

И Грушка тихонько всхлипнула.

Загадала Татьяна – и совсем недалеко, из соседнего дома, выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая, на мороз.

Девки засмеялись, Арина на них шишкнула. Они оробели и замолчали.

– Муж сердитый, – сказала важно Арина, – гляди, лохматый какой собачище. Здесь такого раньше и не бывало.

Татьяна заревела вполрева, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове.

– Не плачь, – сказала Арина, – стерпится еще, вот и мусье тебя жалеет.

– Горькая я, – сказала Татьяна, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору. Девки засмеялись.

– Эх, пропадай!

И она обняла Монфора за шею. Монфор смеялся со всеми.

Арина рассердилась и плюнула.

– Будет вам, охальницам, – сказала она сердито и повела Александра спать. – Не годится, маменька наедет, осерчает, и нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать.

Он спросил няньку быстро – отчего Татьяна плакала.

– Сердитого мужа нагадала. Вчера лучины девки жгли, ее лучина неясно горит, невесело. Вот она и плачет. А вы, батюшка, подите спать, не то мусье заругает.

Александр долго не спал: Монфор не являлся. Наконец он появился, веселый, и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзаму. Стараясь не разбудить детей, он бормотал свою нескладную песенку:

Oh, l'ombre d'une brosse,

и, протяжно, счастливо зевнув, француз сразу же заснул.

А Александр не спал.

Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звук колокольчика, собачий лай, чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый, как дядюшка Сонцев. В печке догорали и томились угли; Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки погрести их.

Он заснул.

Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда-арапа. Но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина и Татьяна, которая всхлипывала во сне: все снег, да снег, да ветер, да домовый возился в углу.

Глава восьмая

1

Ему было десять лет. Нелюбимый сын, он жил в одной комнате с Монфором, учился всему, чему учились все в десять лет, и оживал только за книгами. Вдвоем со своим наставником они много гуляли, и Александр знал теперь Москву лучше Монфора. Знал и переулки, где дома были подслеповаты, как старички, сидевшие тут же, на скамеечках, и нарядный Кузнецкий мост, и широкую Тверскую – дома там были большие, просторные, почти все в два этажа. Дрожки и кареты стояли у подъездов; мужики бойко торговали пирогами. Во французской лавке на Кузнецком мосту блистали яркие шелка.

Прогулки были для него праздником. Однажды он видел странный выезд. На великолепном коне, окруженный богатою свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым золотом чепраком; сбруя вся из золотых и серебряных цепочек. Свита, верхами, молча ехала. Старик курил трубку; лицо его было сморщенное. Ошеломленный Монфор поспешил поклониться, думая, что это прибыл турецкий посол. Оказалось: это старый Новосильцов гулял перед обедом; свита была его дворня. В другой раз они видели, как медленно ехала по Тверской карета кованого серебра, сопровождаемая толпой любопытных: старик Гагарин ехал в Марьину рощу.

В щегольских каретах, цугом, с арапами на запятках, проезжали московские бары; у Благородного собрания, на Тверской была толпа колясок: съезжались московские чудаки, опальные вельможи роскошно доживали век свой, не надеясь на непрочное будущее.

Монфор оглядывал в лорнет прохожих; походка его была неверная, руки дрожали. Он все более опускался. Арина защищала его и покрывала его слабости. Когда, с покрасневшим от бальзама лицом, пробираясь однажды вечером в девичью, он столкнулся с Надеждой Осиповной, Арина отвлекла ее вопросами хозяйственными. Случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама, и она, не морщась, осушала его за здоровье мусье и Александра Сергеевича.

У Монфора были сильные связи, граф де Местр, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьяна, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое – француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, и с губ сами рвались необычные слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном.

Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем. Никакое графство не спасло его. Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами:

– Сначала в дурачки, потом в хрюшки, потом в Никитишны, а там – и в носки! Не угодно ли?

Так он рисовал постепенное падение Монфора; старый игрок в веньгэнь говорил в нем.

Назавтра, увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски: «Главное в жизни честь и только затем счастье» и проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию.

Было и еще одно обстоятельство, погубившее Монфора. Николинька Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзолчик с кружевными манжетками был на нем. Говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его, и, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился: его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но Николинька говорил как аббат, а Сашка как уличный забияка. Николинька, рассказывая о чем-то, назвал Поварскую, как француз, «Povarskaпа», а у Харитонья в переулке – «Au St. Chariton».³⁹ Прощаясь, он сказал приятелю по-латыни: vale.⁴⁰ Сашке было далеко до него. Монфор был посрамлен как воспитатель.

Новый воспитатель был не похож на Монфора. Звали его Руссло.

С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе, и Арина с самого начала его возненавидела.

– Тот мусье был простец, – говорила она со вздохом, – пошли ему Бог здоровья, теперь небось загулял, а этот – жеребец.

Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чепце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась: обожание льстило ей. С этих пор мусье Руссло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубака, он задавал ему

³⁹ У святого Харитония (фр.).

⁴⁰ Прощай (лат.)

уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Руссло засадил его за французские вокабулы и арифметику. Руссло был автор, стихотворец, он с достоинством присутствовал при чтении Расина; Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта:

Ah, je meurs! je meurs!⁴¹

Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Руссло заметно порозовел и округлился.

Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот. Человек в черном, с желтым старческим лицом, изжелта-седой, с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлой ливрее сошел с запяток и спросил, дома ли граф Монфор, которого желает видеть граф де Местр.

Сергей Львович засуетился. Граф де Местр был бессменный посланник короля сардинского, лишенного, впрочем, владений, по слухам – иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ.

Сергей Львович пригласил зайти графа де Местра. Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Руссло, низко ему поклонившегося, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел: взгляд был умный, таким он и представлял себе иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфора и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют все больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей.

Привычным, внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбнувшись, снова воззрился на Руссло.

– Воспитывать должно не ум, – сказал он, глядя на Руссло, – Руссло приосанился, – это притом очень трудно; и не то, что слышет умом, – Руссло посмотрел в сторону, – не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже.

Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении.

Вскоре каретка де Местра скрылась в Харитоньевском переулке.

Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа де Местра. Не обращая внимания на Сашку, на Лельку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время – дело претрудное и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное – это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками! Граф де Местр трижды прав.

Мнение это и в особенности сообщение о визите графа де Местра выслушивали со вниманием.

– В последний раз, когда граф де Местр был у меня... – говаривал Сергей Львович.

⁴¹ Ах, я умираю! Я умираю! (фр.)

2

Неожиданно все в Москве переменялось; самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало; всех стали приглашать, всем улыбаться, обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству шестьсот лет, а то и без малого тысяча, и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им не виденный Карамзин.

Причина всему – государственная, Петербург.

Москва была на отшибе, доживала; старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат; как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги; они все помнили, всех знали. Суждения Офросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест екали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гименея, мужья под пантуфлею, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бранил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы.

Молодежь в Москве – вздыхатели, лепетуны, ветрогоны. Разговор у них изнеженный, все мужчины избегали грубых звуков и сюсюкали. Говорили: женщина, нослег.

В Петербурге был двор, было государство, и самая литература была в Петербурге другая: там сидел сухопутный адмирал Шишков, который издевался над московскими вздыхателями, не щадил и самого Карамзина; он ополчился на всех учителей-французов, на модные лавки и советовал читать Четьи-Минеи. На Фонтанке еще кряхтел Гаврило Романович Державин и писал длинные реляции потомству об оде.

Но дело было не в них, не в стариках, и даже не в молодых. Дело было в том, что, пока Москва вздыхала, обжиралась на масляной блинами и удивлялась пирожкам Василия Львовичева Блэза, к власти пробрался нежданно-негаданно и сел крепко подъячий.

Так называли старики Сперанского. Сначала пошли слухи о том, что царь везет с собою «на поклон» подъячего, потом слухи подтвердились. Потом прошел слух, что сам Буонапарт говорил с подъячим и был будто до крайности любезен. Тут старики, хотя и всячески корили Наполеона, почувствовали себя обойденными, а потом решили, что подъячий с Наполеоном спелись. И когда последовали указы – один за другим, – всем старцам стало ясно: Наполеонова эра настала. Первый указ был о придворных званиях, второй – о гражданских чинах. Со времени Екатерины существовал высокий свет. Высокие светские люди проводили жизнь в светских занятиях; в колыбели получали звание камер-юнкера и с ним чин пятого класса; младенцы улыбались дородным мамкам, переходили в руки нянь, становились камергерами и получали чин четвертого класса. Зато свободное время образовывало их вкус, со временем они могли быть замечены статс-дамою Перекусихиной, а если этого не случалось, они наконец приступали в высоких чинах к государственным делам. Таковы были дворянские вольности.

3 апреля 1809 года подъячий, который теперь утвердился в Петербурге, издал указ и всему положил конец. Звания камер-юнкера и камергера впредь не давали никакого чина и

считались только отличиями. Вместе с тем всякий был обязан избрать в течение двух месяцев род действительной службы, а не изъявившие желания считались в отставке. Множество благородных людей, которые ни в чем не изменили ни своего образа жизни, ни мыслей, вдруг, через два месяца, оказались в отставке. Три поколения Трубецких-Комод, которые все имели звания и числились на службе, сидя, как всегда, у себя в Комоде, оказались отрешенными. Везде в домах было сильное волнение. Тот самый старик, который звал Наполеона Буонапартом, грозился поехать в Петербург бить кутейника. Более же всего озлобили налоги, которые росли со дня на день.

– Отъедается, – говорили не то о Сперанском, не то о царе, – хуже покойничка Павла.

Летом, когда в Москве старики только и говорили что о налогах и грозилась умереть, только бы не платить, подъячий издал второй указ. Впредь никто не мог быть произведен в чин коллежского асессора без экзаменов и какого-то свидетельства. Сословие чиновников приглашалось бросить все застарелые привычки, все свои цели и вместо домашних бесед с доброхотными дателями готовиться к экзаменам по праву естественному и начальным основаниям математики.

Теперь восстало все крапивное семя.

Говорили, что один повытчик публично плакал в присутственном месте, на Прудках, отирая слезы большим красным фуляром и привлекая этим общее внимание. Вместе с тем, не видя перед собою дальнейшей цели существования и отчаявшись в сдаче экзаменов, а стало быть, и в получении чина коллежского асессора, приказные стали требовать такой мзды, что уж это одно само по себе могло поколебать основы государства. Все это имело важные последствия.

Московские бары, которые при издании первого указа во всем винили крапивное семя, стали теперь звать Сперанского поповичем и расстригой.

Разные вкусы и наклонности ввиду общей опасности временно забыты. Движение на улицах Москвы усилилось: с утра все выезжали, чтобы узнать общее мнение. Сергей Львович стал ходить по утрам в должность. Все канцелярии теперь были заняты тем, что переписывали новые стихотворения на Сперанского. Сергей Львович каждый день приносил что-нибудь новое и по прочтении запирал в свой тайник.

Стихотворения были довольно острые. Одно – о канцелярском плаче, называлось «Элегия»:

Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь!

В нем был едкий стих, который сразу вошел в поговорку:

О чин асессорский, толико вожделенный!

Стихотворение было, впрочем, написано более в насмешку над приказными и, видимо, в защиту указа, но чиновники на первых порах не разбирались и переписывали все, что попадалось об указах, «яко противоудейственное».

«Мысль унылого дворянина» более понравилась Сергею Львовичу; все написано дурными стихами, но сильно выражено:

От Рюрика поднесь дворян не утесняли,
Зато Россию все владычицей считали.

О «сыне поповском» там было сказано, что он «как мыльный шар летает» – а далее: «искусственным мечом Россию поражает и хаос утверждает».

Эпиграмма на Сперанского была в другом роде – коротка, ее писал брат того генерала, который звал Наполеона Буонапартom:

Велики чудеса поповский сын явил,
Науками он вдруг дворян всех задавил.

Наук испугались все. Лекари учились медицине, попы богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по-латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари, – не дворянское дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и все перевернул.

Сергей Львович негодовал почему-то более других. Мысль, что камер-юнкер и камергер теперь будут не чины, а звания, была особенно для него невыносима, хотя ни он и никто из родни не были ни тем, ни другим. Он не находил слов для возмущения.

– Этот приказный, *cette canaille de*⁴² Сперанский, – говорил он о Сперанском, как будто тот служил у него ранее под начальством и произнося эту фамилию в нос.

Вообще это было в характере Сергея Львовича – он охотно ввязывался в любую оппозицию. Порою он ворчал перед камином, совсем как матушка Ольга Васильевна. Однажды он даже дословно ее повторил: фыркая, сказал, что все несчастья начались с Орловых, – полезли в знать, и началась неразбериха. Что ни говори, а звание дворянское дает право на светскость; светскость же, или, как маменька Ольга Васильевна говорила, людскость, – все! Это и любезность, и умение блистать, и остроумие. А кто этого не понимает, с тем говорить не стоит. И хотя исторические понятия Сергея Львовича были смутны, у него были сильные чувства.

В эти месяцы много перьев скрипело в Москве – приказные переписывали стихи, дворяне писали царю. Даже Сергей Львович, сидя в своей комнате над чистым листом бумаги, написал как-то тонким пером:

Всемиловейший Государь!

но далее у него не пошло.

Все ждали, что скажет Карамзин.

3

Старые друзья говорили, что он сделался молчалив и горд. Чувствуя, что связи со всеми рушились и что предстоят важные труды, он подолгу покидал Москву. Наконец удалось ему основать свой Эрмитаж, наподобие Руссова, в тестевом имении Остафьеве. Обширный сад, проточный пруд, густые липы заменили ему там друзей. Молодая добрая жена стала теперь для него Клией, музой истории. В Москве начали относиться к нему с боязнью. Изредка приезжал он сказать два-три важных слова, обронить замечание, улыбку. Снисходительность к людским порокам была в нем теперь главной чертой. Добряк Сонцев, муж сестрицы Лизет, боялся его как огня. Теперь смятение московское вызвало его на несколько недель из уединения.

С радостью появился к нему Сергей Львович. Они давно не видались. Он долго думал, какой час избрать для посещения, потому что боялся помешать, и выбрал час меж волка и собаки. Московские стишки, после некоторого размышления, он сунул в карман, надел новый фрак, вздохнул и поехал.

⁴² Этот негодай (фр.).

Он был принят прекрасно. Никого не было. В полутемной комнате, на простой мебели сидели они в полутьме, и Карамзин не зажег свечей. Карамзин мало говорил. Казалось даже, он дремал, сидя в глубине покойного кресла. Зато говорил Сергей Львович – обо всем. И прежде всего о диких выходках петербургского адмирала Шишкова, шумно ругающего Николая Михайловича и недавно написавшего, что братец Василий Львович – безбожник, распутник и враг престола.

Карамзин улыбнулся, слабо выразив одобрение. Он вовсе не был галломаном. Соседство имен его и Василья Львовича было несколько смешно.

Он спросил Сергея Львовича о здоровье милой жены его. Сергей Львович поблагодарил сердечно и пожаловался на трудность воспитания детей. Теперь, когда требуются от дворянина экзамены и науки, дрожь за их будущность. Граф де Местр, который недавно был у него, пожалуй, прав: важно воспитание чувства вкуса, уважения к родителям, а остальное – о, Бог с ним! Он, как отец подрастающего сына, – очень это чувствует.

Тут Карамзин мягко предостерег его – нельзя смешивать понятия, различные в существе своем, – одно дело экзамены и другое – просвещение. Ни Шекспиров, ни Боннетов без него быть не может. Изящный ум ближе к природе, чем невежество. Благородные должны это наконец понять. О графе де Местре он сказал с некоторой холодностью, что не знал о пребывании графа в Москве. Но экзамены – увы! – как надолго повредят они самим наукам!

Сергей Львович вскоре не утерпел и прочел Карамзину «Мысль унылого дворянина».

Карамзин, казалось, оживился. Он со вниманием слушал стихи и попросил листок, чтобы перечитать. Щеки его окрасились. Вскоре тихим голосом он стал объяснять Сергею Львовичу с терпением и кротостью смысл происходящего.

Сидя в полутьме, Сергей Львович не шелохнулся. Он с жадностью вслушивался во все, что говорил Карамзин, и все это возвышало его, укрепляло. Он сидел, важно оперши щеки на белые воротники, позабыв о Надежде Осиповне, Сашке и Лельке, долгах и своей квартире. Он был снова тем, чем ему быть надлежало, – шестисотлетним дворянином, человеком светским, одним из тех, с которыми говорят, которых приглашают. От приятности этого сознания он половины из того, что говорил Карамзин, не слышал. Он только смеялся от души тонким насмешкам над подъячим.

В полутьме, не зажигая свечей, Карамзин говорил, что ныне председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский – свойства кислорода и всех газов, а вице-губернатор – Пифагорову фигуру...

Сергей Львович тихо засмеялся.

– ...надзиратель же сумасшедшего дома – римское право...

Это Сергей Львович постарался запомнить.

– Кислород, Пифагор, надзиратель, – повторил он одними губами.

Между тем никто не заметил, что указ и «разум указа» – написаны безграмотно, слогом цветистым, лакейским – семинарским, если так можно сказать.

Сергей Львович вспомнил чистый лист бумаги и на нем обращение:

Всемиловейший Государь!

Он признался в своей дерзости Карамзину, краснея как школьник, сознающийся в шалости, счастливый, уверенный, что все это вызовет одобрение. Он собирался писать государю... голос сердца! Великий Боже! Но все почти собираются в Москве писать государю...

Карамзин замолчал. Он молчал, отвечая на лепет и смех Сергея Львовича осторожным кашлем.

Стало совсем темно. Карамзин не шевелился в своем кресле. Не дремал ли он? Только когда Сергей Львович стал прощаться, он слабым голосом, но совершенно холодно попросил передать поклон милой жене его.

Сергей Львович вышел, недоумевая, почему, вначале почти его такой душевной беседой, Карамзин охладил к нему в конце. Но Карамзин и сам уже много недель сидел над листами бумаги в своем остафьевском уединении; он и сам писал государю о том духе, который подъячий вносил в течение истории государства российского.

4

Вернувшись от Карамзина, Сергей Львович в сенях наткнулся на Александра. Вид сына озадачил его.

Тотчас, решительно, брызгая и торопясь, он рассказал Надежде Осиповне о своей беседе и передал поклон.

– Воспитывать должно изящный вкус, – сказал он решительно, – это образует человека.

Надежда Осиповна в важных делах не возражала мужу. Он ставил ее в тупик странной решительностью: Сергей Львович не всегда решался на поступки, но если уж решался, не терпел промедления, горел и фыркал, как ракета. В тот же день отдали портному на Немецкой улице шить из фрака Сергея Львовича новый костюм для Александра. Надежда Осиповна прикупила кружева во французской лавке. Она долго одевалась перед зеркалом и с утра уходила делать покупки. Все оживилось. Детей начали воспитывать по-новому. Наконец костюм был готов. Надежда Осиповна в лорнет оглядела Александра и повздорила с немцем портным. Сергей Львович успокоился на неделю. Но, побывав у Бутурлиных, Сушковых и еще у кой-кого, он однажды вдруг обнаружил, что благородных детей учат танцам у Иогеля.

Иогель был модный танцмейстер, он первый в Москве начал по-настоящему учить детей танцам, у него устраивались детские маскарады, родители свозили своих сыновей и дочек к Иогелю; костюмы шились по его совету – английские адмиральские и а-ля тюрк; парики, треуголки – все предусматривалось заранее нежными матерями и портными.

Зала Иогеля была ярко освещена. Сам Иогель, высокий, сгорбленный старик, в черном фраке, выступал и играл на крохотной карманной скрипочке. Дети прыгали с равнодушием, свойственным этому возрасту, в правильных танцах. Вокруг сидел ряд московских старух, которые осуждали родителей и, подзывая детей, кормили их пряниками, тут же доставаемыми из мешочков. Вечера Иогеля постепенно вошли в моду. Старухи ругали немца за то, что плохо учит детей: мальчишки толкутся, а девочки мечутся как угорелые; матери семейств ругали его за дорогую плату – и, поставив мушку на щеку, ездили к нему на вечера.

Сергей Львович сказал Надежде Осиповне, что они должны свезти Александра и Ольгу к Иогелю. Надежда Осиповна с восторгом согласилась. Решено нарядить Александра турецкою, а Ольгу гречанкой. Надежда Осиповна три дня ездила по модным лавкам. Шелк, который она купила для детских маскарадных платьев, был очень дорог. Она любовалась им два дня и наконец решила оставить для себя. Сергей Львович закусил губу. Ему смерть хотелось побывать у Иогеля. Однажды за обедом он объявил, что детей согласился обучать танцам славный танцмейстер Пэнго.

– Гораздо лучше Иогеля, – сказал он неуверенно. – Иогель – старый мошенник и ничего более.

Тетушка Анна Львовна, приехавшая к обеду, была поражена братом, ничего не жалевшим для воспитания детей.

– Ах, Сергей, Сергей, ты пожалеешь, – говорила она.

Сергей Львович и сам немного был озадачен приглашением Пэнго.

Он ходил из угла в угол, а Анна Львовна внимательно смотрела на детей. Они, казалось, не в состоянии были оценить родительских забот.

Никита зажег в гостиной свечи, и славный Пэнго появился. Он был малого роста, худ, с точеными ножками, в башмачках с пряжечками, в шелковых чулках. Он был очень стар, но бодрился, хотя голова его и дрожала.

Мать взяла за руку Ольгу и Александра и вывела их на середину комнаты, Анна Львовна села за клавир, и урок начался.

– Глиссе,⁴³ глиссе, – говорил разбитым голосом славный Пэнго и шаркал. Ноги его были нетверды, он приметно тряс головою и был похож на кузнечика, который хочет прыгнуть и не может.

С непонятным отвращением Александр вел испуганную Олиньку, которая старательно приседала и лепетала беззвучно:

– Un, deux, trois...⁴⁴ un, deux, trois...

Сергей Львович смотрел на славного Пэнго, не обращая внимания на дочь и сына; Анна Львовна прилежно стучала в старый клавир.

– Тур сюр пляс!⁴⁵ Тур сюр пляс!

Пэнго остановил детей. Они шли, сбиваясь с такта, не в ногу и не умели вертеться. Приподняв фалды фрака, он изобразил на лице своем улыбку. Так улыбаться должна была Олинька. Холодно поблескивая глазками в морщинах, он прошелся независимой, легкой петушиной поступью, все время качая от старости головой. Так должно было выступать Александру. Потом медленно стал кружиться. Угрюмо и равнодушно, поглядывая исподлобья на родителей, мешковатый и рассеянный, Александр путался и сбивался с такта.

Тетка играла и кланялась при каждом такте, упрямо пристукивая каблучками.

– Ан аван!⁴⁶ Ан аван!

Пэнго утомился и вытер лоб белым кружевным платочком. Он уселся в кресла.

Тут Надежда Осиповна поднялась. Давно уже она покусывала платочек, и лицо у нее шло пятнами. Она смотрела на детей сквозь туман, слезы стояли у нее в глазах. Весь день ей было не по себе – так сказали потом Пэнго. Теперь она смотрела на своих детей, оскорбленная, сбита с толку. Она всегда была или казалась самой себе красавицей, ее звали франты *la belle creole*. Этот мальчик с обезьяньими глазками и матовой кожей, с угловатыми движениями, почти урод – был ее сын. Худенькая длинноносая девочка с сутулой спиной, с бегаящими глазками, с плоскими бесцветными волосами была ее дочь. И чувствуя непонятное отвращение, гнев, горькую жалость к себе, она поднялась, крепко схватила за ухо сына, за шиворот дочь и швырнула их за дверь, как швыряют котят.

– Урод, – сказала она, сама не слыша.

Пэнго поднялся.

– Дети бывают способны и неспособны, но по первому менуэту нельзя судить танцора. Славный Дюпор также в нежном возрасте был неловок.

Пэнго говорил, как танцевал, – машинально. Он двадцать лет учил одному и тому же и привык ко всему.

Анна Львовна насильственно улыбалась французу. Она была оскорблена странным поведением невестки: при французе не следовало так вести себя.

Сергей Львович помчался к Надежде Осиповне, как всегда ничего не понимая. Она уже успокоилась.

⁴³ Скользите (от фр. *glisser*).

⁴⁴ Раз, два, три (фр.)

⁴⁵ Поворот на месте (от фр. *Tour sur place*).

⁴⁶ Вперед (от фр. *En avant*).

Славный Пэнго более не приглашался. Олинька немного похныкала, но быстро успокоилась: она привыкла к выходкам матери. Перед сном, в постели, Александр вдруг громко вздохнул – так не вздыхают дети.

Мать не любила смотреть на него, иногда отводила взгляд, как бы смущаясь; он всегда уклонялся от ее прикосновений. Он не думал об этом и все вдруг понял. Он был урод, дурен собою. Это глубоко его тронуло. Он вспомнил, как шел под музыку с сестрой Ольгой, и заплакал от унижения. Никто в этот час не подошел к его постели: Арина была где-то далеко. Француз сидел у стола и с внимательным, угрюмым видом, отрешась от всего, чистил ногти маленьким ножичком и щеточкой.

5

Василий Львович пригласил брата к обеду: Надежда Осиповна была больна; Сергей Львович взял с собою сына. Он не хотел его брать, да Надежда Осиповна навязала. Если бы Сергей Львович отказался, она бы подумала, что ее обманывают и обед – с какими-нибудь вольными балетными или французскими актерками. Скрепя сердце он взял с собою Александра. Между тем обед у Василья Львовича был без дам. Новые его приятели даже славились по Москве тем, что не любили женщин, были мизогины.

Приятели эти были самые модные люди. Все они занимали должности «архивных юнкеров», а звали их просто «архивные». Самая должность их также была модной: они служили или числились в архиве иностранных дел, который был теперь питомником благородных юношей. Все они обучались у немцев, в Геттингенском университете, и поэтому их звали еще «геттингенцы» или просто «немцы». Теперь их одного за другим переманивал из Москвы в Петербург Иван Иванович Дмитриев, который был «в юстице», как говорили старики, министром. В Москве они бывали наездами. И манеры их, и привычки, и вкусы – все было новостью. Они были вежливы, много и тихо говорили между собою по-немецки, как бы воркуя. Меланхолия была у них во взглядах, они с нежностью смотрели друг на друга и с высокомерием на остальных.

Василий Львович вздумал было на первых порах возмутиться, потом удивился, но вскоре понял, что это самая новая, самая последняя мода, а он со своими фразками и фразами из Пале-Рояля уже несколько устарел. По природе и сердцу своему он был модник. Он признал новые светила. Они к тому же были вежливы, «милы» – как стали о них говорить, – не то что юные московские негодяи из клубов, от которых он едва отделался. Они слыли в Москве «тургеновскими птенцами» и «Дмитриевским выводком», а он, как и все, уважал старика Тургенева и Дмитриева. Больше всех подружился он с Александром Тургеневым, с которым нашел какое-то сродство душ: молодой Тургенев был охоч до еды, хлопотлив, непоседлив и мил, с всяческими щеками и обширным животом; он всюду носился и развозил новости. Характер его был безмятежный: он любил умиляться, и крупные слезы тогда падали у него из глаз, а за столом, после обеда, часто задремывал. Геттинген и немцы были у него на языке, но по свойствам он был вполне понятен Василью Львовичу: прожорлив, забывчив и скор.

Другие геттингенцы были не столь любезны: Блудов – болтун, но хитер; Уваров имел холодно-доброе сердце и был кисло-сладок; Дашков был пухлый, спокойный, гордый и медленный. Со всеми Василий Львович подружился. Впрочем, он отчасти не мог взять их в толк: у них были какие-то тайны, косые взгляды, недомолвки. Он смерть не любил их смешков – тихих, ядовитых и как бы блудливых. Иногда вдруг появлялась важность, как будто они знали что-то ему недоступное, и он пугался. Вдруг, среди шуток, все начинали говорить вполголоса, и Василий Львович знал, что это о делах государственных. Они на мгновение переставали его замечать, не слыша его вопросов. Он робел и начинал заискивать. Тогда они

успокаивали его самолюбие: хвалили его стихи. На похвалу эту он всегда откликался всем существом, шел на нее, как рыба идет на наживу.

Вообще он был ими озадачен, сбит с толку. Эти молокососы были гораздо устойчивее, *solide*,⁴⁷ чем старики. Они как-то рано созрели и подсохли. Молокосос Уваров ездил по каким-то важным поручениям за границу и вошел там в тесную дружбу с самим немцем Штейном. Штейн! Предводитель пруссаков! Имя его было всегда у них на устах. Он изгнан Наполеоном, скрывается в Вене, пламенно любит отечество и под носом у Наполеона заводит между тем свой ландвер и ландштурм. Изгнанник открыто мечтает о свободе человечества – свободе от Наполеона; но и Наполеон ведь тоже, однако, судя по «Монитеру», который изредка читал Василий Львович, мечтает о какой-то свободе человечества, и в первую очередь – свободе от Штейна. Для Василья Львовича все это была китайская грамота, ахинея и тарабарщина. Тем более он уважал новых друзей.

Суеверный страх у него возбуждали их занятия: Уваров возился с какими-то греческими делами и свободно писал по-гречески; Дашков даже по-турецки понимал. Между тем Василий Львович из греческих дел знал только Анакреонта, да и то в переводе, а о турках знал, что у них гаремы и в гаремах множество жен; протоиерей, с которым Василью Львовичу приходилось еще иногда обедать, отбывая епитимью, всегда приводил это как пример бесчестия и разврата, но Василий Львович был другого мнения. Василий Львович не понимал, что за охота этим молодым старцам возиться с греками и турками и разбирать их закорючки и каракули, в которых он не понимал *pas un brin*.⁴⁸ Это не входило в круг благородного образования. Они были деловые, но это и не дельно, только потеря времени и более ничего. И только когда открылась война с турками, понял дальновидность юнцов: вот каракули игодились. Все они были дипломаты. Василий Львович боялся дипломатического сословия.

Эта ученость геттингенцев угнетала, пугала его. Вообще в них было много странностей – они почти не говорили о женщинах, не любили их, признавали только дружбу и писали все о меланхолии. Друг их, вдохновенный и трудолюбивый Жуковский, признавал любовь платоническую. Это была теперь последняя, тоже немецкая мода – молодые люди впали в уныние и говорили о самоубийстве. Уваров написал французские стихи о выгодах умереть в молодости, и все их переписывали и читали друг другу. Дамы плакали, читая эти стихи: выгоды казались им неоспоримыми. Дашков напечатал статью о самоубийстве, благородно опровергая друга. Они пламенно хотели умереть и быстро продвигались по службе.

Обнаружились какие-то новые виды службы. Василий Львович никогда не подозревал, что можно, например, заведовать какими-то иностранными исповеданиями – иезуитами, шаманами, магометанским и еврейским племенем. Это казалось ему мрачно. Однако в этой должности теперь состоял Александр Иванович Тургенев при князе Голицыне; да и сам Голицын был сначала известный шалун и непотребник, любил ганимедов, а теперь занимал самую готическую должность – обер-прокурор синода! Вся жизнь оказалась наполненной самыми различными должностями. А новые друзья, меланхолики, прекрасно разбирались в этом лабиринте и незаметно оказались нужными людьми, деловыми малыми.

Василий Львович очень скоро оказался, несмотря на несходство характеров, их единомышленником, сотоварищем в литературной войне.

Уже давно, несколько лет, шла литературная война в обеих столицах и не прекращалась, а разгоралась все более. Казалось, не могло быть иного вкуса, кроме истинного, иных стремлений, как быть изящным, и не было пророка литературы, кроме Карамзина. Вдруг выступил в Петербурге сухопутный адмирал Шишков и поднял свирепую войну против дру-

⁴⁷ Солиднее (фр.).

⁴⁸ Ничего (фр.).

зей добра и красоты; самому Карамзину досталось, за ним Дмитриеву, за ним Василью Львовичу.

Поход против французов был объявлен Шишковым; добро бы, если б то был поход против несчастного французского переворота и якобинства, – Василий Львович к нему охотно бы пристал. Но старик ополчился и против старых французских «маркизов», как называл он светских поэтов; если бы он восстал только против французских *outchiteli*, кто б с ним стал спорить: пропадай они – Василью Львовичу было все равно, как его Аннета будет воспитывать плод своей любви к барину; но уж Шишков шел войной и против французских модных лавок! Да уж и против языка чувств! И против элегии!

Вел он себя как истый варвар – в альбом одной милой женщины, которой друзья писали стихи, он полуставом написал варварские вирши:

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты – честь отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Особенно разъярила всех эта «девка».

– *Cette noble*⁴⁹ девка! – говорил Василий Львович.

Геттингенцы были в дружбе с Дмитриевым, а Блудов и в родстве, чтили Карамзина, смеялись над адмиралом с его «девкой», и Василий Львович считал себя во всем их единомышленником. Сердце его открылось для новых друзей. Князя Шаликова также. Только Алексей Михайлович Пушкин звал их непочтительно плаксами; но он был вообще известный ворчун и афеист.

Василий Львович не без трепета ждал новых друзей. Он их побаивался. Обещались быть Тургенев, Блудов, Дашков; Жуковский отдыхал под Москвою, в Мишенском, и весь был занят природою и платонической любовью; на него надежды не было. И к лучшему: Василий Львович робел перед ним. Уваров собирается в Петербург и тоже не приедет; невелика потеря – он мало ел и плохо разбирался в еде. Из старых друзей ждал он Шаликова и кузена Алексея Михайловича. Вот и все. Да еще брат Сергей с его желторотым птенцом Сашкой: его навязала Надина-мулатка. Василий Львович чувствовал все преимущества своего семейного положения: он султаном, петухом ходил по дому, Аннушка, как верная раба, ни в чем не выходила из его воли. Она обо всем пеклась, заботилась о барине и доме, а когда являлись гости, скрывалась в дальней комнате.

Гости потрепали по плечу юного Александра, а Тургенев даже обнял.

Встреча новых умников и старых остроумцев была преприятная. Умники, как все деловые люди, любили побездельничать. Все они были даже отъявленные шутники. Умник Блудов написал признание в любви портного:

О ты, которая пришила
Заплату к сердцу моему, —

и это стихотворение лежало в бюро у Сергея Львовича.

Все были без ума от этого портного. Тотчас появилось объяснение в любви приказного, дьячка, врача, квартального и прочих сословий.

Сословия, их язык, степень образованности – всем этим уши прожужжал Сперанский. Вот они и объяснялись все по-разному в любви. Это было смешно и тонко.

⁴⁹ Эта благородная (фр.).

Правда, безделье новых друзей было другое, не такое, как у Василия Львовича. Они ленились и роскошествовали на какой-то восточный манер. Может быть, это было потому, что Блудов и Дашков были богачи, получали по полста тысяч в год дохода. Да и веселье их было другое. Это не было остроумие, *esprit* Вольтера и Пирона, это была немецкая шутка, неуклюжая, мясистая, замысловатая – витц. Василий Львович насильственно улыбался, когда умники острили. Поэтому он припас драгоценную новость: новое собрание сочинений графа Хвостова.

Граф Хвостов был замечательное лицо в литературной войне. Среди друзей Карамзина, особенно молодых, были люди, которые как бы состояли при Хвостове, только им и жили и с утра до вечера ездили по гостиним рассказывать новости о Хвостове. Все в этом стихотворце соответствовало учению афеиста Алексея Михайловича о мнимостях. Начиная с графства: графство его было сардинское, и выпросил его Хвостов Суворов у короля сардинского. Хвостов женат был на племяннице Суворова, и генералиссимус, который любил вздор, покровительствовал ему. В стихах своих граф был не только бездарен, но и смел беспредельно. Он был убежден, что он единственный русский стихотворец с талантом, а все прочие заблуждаются. Он называл себя певцом Кубры, по имени реки, протекавшей в его имени, и охотно сравнивал себя с Горацием, по разнообразию: писал басни, оды, эклоги, послания, эпиграммы и много переводил. Он был и ученый, собирал и отмечал всякие известия по старинной литературе. У него была одна страсть – честолубие, и он бескорыстно, разоряясь, ей служил. Говорили, что на почтовых станциях он, в ожидании лошадей, читал станционным зрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. Многие, уходя из гостей, где бывал граф Хвостов, находили в карманах сочинения графа, сунутые им или его лакеем. Он щедро оплачивал хвалебные о себе статьи. Он забрасывал все журналы и альманахи своими стихами, и у литераторов выработался особый язык с ним, не эзоповский, а прямо хвостовский – вежливый до издевательства. Карамзин, которому Хвостов каждый месяц присылал стихи для журнала, не помещал их, но вежливо ему отвечал: «Ваше сиятельство, милостивый государь! Ваше письмо с приложением получил» и т. д. «Приложением» называл он стихи графа.

В морском собрании в Петербурге стоял бюст графа. Бюст был несколько приукрашен: у графа было длинное лицо с мясистым носом, у бюста же были черты прямо античные. Слава его докатилась до провинции. Лубочная карикатура, изображающая стихотворца, читающего стихи черту, причем черт пытается бежать, а стихотворец удерживает его за хвост, висела во многих почтовых станциях. В Твери полагали его якобинцем. Непрерывно выходили в свет сочинения графа, издаваемые его собственным иждивением. Недавно вышло новое собрание его притч. Василий Львович нарочно купил его. В баснях и притчах граф был наиболее смел.

Тотчас устроилась игра: каждый по очереди открывал книгу и, не глядя, указывал пальцем место на странице, которое надлежало прочесть.

Начал Блудов, разогнул – открылось:

Суворов мне родня, и я стихи плету.

Блудов сказал:

– Полная биография в нескольких словах.

Лучше начала сам Василий Львович не мог бы придумать. Все просияли, и охота за стихотворною дичью началась.

Книга перешла к Алексею Михайловичу. Он ткнул пальцем и прочел:

Ползя,

Упасть нельзя.

Сергею Львовичу попалась баснь «Змея и пила». Самое название было смело. Граф любил сопрягать далекие предметы. Сергею Львовичу особенно понравились первые стихи:

Лежала на столе у слесаря пила,
Не ведаю зачем, туда змея пришла.

Он сказал без всякой аффектации фразу, которую недавно слышал, но не вполне понимал:

– В глупости его есть нечто высокое.

Фраза имела успех, ее благосклонно выслушали, а Дашков даже, видимо, удивился тому, что Сергей Львович так хорошо сказал.

Сергей Львович, весьма довольный собою, хотел было продолжать игру, но Василию Львовичу не терпелось. Он все ерзал в своем кресле, потом наклонился над книгою так близко, что нос его мешал Сергею Львовичу листать. Сергей Львович не без досады и краткой борьбы уступил брату книгу. Он придержал было ее, но Василий Львович, рискуя порвать, потянул к себе, и так Хвостов перешел к нему.

Краткая борьба двух братьев была замечена. Александру показалось, что Блудов подмигнул Дашкову.

Василию Львовичу попалась счастливая баснь. Он, захлебываясь и брызгая, стал читать – и не мог.

Щука у#ду проглотила;
Оттого в тоске была...
И рвалась и вопила...

Пароксизм овладел им. Слова вылетали, как пули, со слюнями и икотой:

Ненавижу... я... себя...
Щука... восклицает...

Все хохотали. Александр оскалил белые зубы. Но вскоре ему показалось, что смеются уже не над баснью и не над Хвостовым, а над самим дядюшкой. Василий Львович весь осклиз, обмяк от смеха, чихал громко и непрерывно, пытался что-то сказать и лепетал в промежутках между чохом и икотой какой-то вздор. Положение его было жалкое. Ему дали воды, и, вздохнув, икнув напоследок, он пришел в себя. Дашков читать не стал, у него были на то свои причины: Дашков был заика.

Очередь была за князем Шаликовым. Шаликов открыл, поискал глазами и прочел, к удивлению всех, какие-то стихи, ничем не забавные и даже изрядные. Это был эпиграф к «Притчам»:

Вот книга редкая: под видом небылиц
Она уроками богато испещренна;
Она – комедия; в ней много разных лиц,
А место действия – пространная вселенна.

Все недоверчиво покосились.

Тургенев попросил у него книгу, открыл, перевернул страницу и прочел:

Мужик представлен на картине;
Благодаря дубине
Он льва огромного терзал.

Листнул наугад и снова прочел:

Летят собаки,
Пята с пятой.

Попала книга к Шаликову, и, как по волшебству, стихи оказались разумными. Тургенев лукаво прищурился и вдруг вздохнул. Блудов и Дашков переглянулись. Игра прекратилась, потому что приняла дурной для Василия Львовича оборот: Шаликов вступил в спор с молодыми его друзьями.

Дело было в том, что, соратник и последователь Карамзина, князь Шаликов в последнее время вошел в тайные отношения не с кем иным, как с самим графом Хвостовым. Эти умники не жаловали и князя; до него дошли слухи, что они над ним посмеиваются, как над Хвостовым. Он видел карикатуру на себя в одном альбоме милой женщины, к которой умники хаживали: чернобровый франт на тонких ножках, с громадным носом и цветком в петлице. Это был он. Он вскипел и выругался тогда, мгновенно потеряв расположение милой. На бульварах, бывало, провожали его почтительные и завистливые взгляды, он слышал за собою шепот: «Шаликов, Шаликов», а теперь, когда он появлялся, все франты посмеивались. Он старел. Карамзин не печатал стихотворений, которые прислал ему князь, как не печатал стихов графа Хвостова.

Князь Шаликов был против всех насмешников. Он чувал: в литературной борьбе друзья всего прекрасного, друзья Карамзина, продадут его ни за грош, отступятся и выдадут с головою врагам. Он написал осмеиваемому сардинскому графу письмо и заключил с ним тайный союз.

Перед Александром разыгрывалась литературная война и измена по всем правилам стратегии.

Василий Львович почуял недоброе и тотчас переменял род оружия – он стал показывать гостям свою библиотеку. Собирал он только редкие книги, а обыкновенные какие-нибудь сочинения презирал. Он показал редчайший экземпляр, привезенный из Парижа, со столь вольными изображениями, что Шаликов сначала ухмыльнулся, а затем закрыл глаза платочком. Все с удивлением смотрели на изображения, и Александр со всеми.

Тут все дело испортил Алексей Михайлович.

– Сколько у тебя, братец, здесь картинок? – спросил он.

Василий Львович посмотрел в книжке чистую страничку, где записывал, как библиоман, разные разности о каждой книжке, и ответил:

– Тридцать.

– А у меня сорок, – равнодушно сказал кузен, – тебя, братец, надули в Париже.

Василий Львович побледнел. Книги были его страсть, и если у кого-нибудь была такая же, она теряла для него всякую цену.

– У тебя другая, – сказал он с досадой.

– Такая же, только без пятен, и углов никто не слюнявил, – возразил кузен.

Дашкову, Блудову и Тургеневу заметно начинало нравиться общество «обоих Пушкиных». Василий Львович что-то пробормотал, заторопился и повел гостей к столу.

Обед был хорош, стол заботливо убран; Аннушка с утра хлопотала. Впервые Блэзу удалась рыба по-французски во всех тонкостях. Василий Львович сам с утра давал Блэзу

указания; парижские рецепты были записаны у него в книжечке. Мателота была точно такая, как ел он в Gros-Caillou.⁵⁰ Трактирщик лично рассказал Василью Львовичу секрет приготовления. Только самая рыба была другая, не морская – налим. Это не делало существенной разницы. Все дело было в перце, соли, уксусе, горчице, в их соотношении.

Гости ели охотно и много, за исключением Дашкова.

Василий Львович спросил, нравится ли ему мателота. Это точный отпечаток мателоты в Gros-Caillou.

Дашков ответил медленно и равнодушно:

– Н-нет.

Дашков был заика, самолюбив, важен. Василий Львович обиделся.

Алексей Михайлович, кузен, сидел с видом бесстрастным, насупясь, как всегда. Он сказал, что в мателоте чего-то не хватает, и что-то проворчал об английской кухне. Василий Львович насторожился: впервые кузен хвалил английский вкус. Он был в Англии, но, кроме сырости, бычачины и яиц во всех родах, по его мнению, ничего там не было. Блюдов улыбнулся. Он тихо сказал, что есть и бифтексы. Тем же скучным, надтреснутым голосом Алексей Михайлович спросил Василья Львовича, не при нем ли была изобретена в Англии новая машина...

– Да и не ты ли мне это рассказывал? – сказал он вдруг, глядя строго и с нетерпением на Василья Львовича и припоминая: – Точно, ты! А теперь ты англичан ругаешь.

– Что я рассказывал? – спросил сбитый с толку Василий Львович.

– О машине – ты ее в Лондоне видел...

Кругом сидели путешественники. Самолюбие путешественника, первым рассказавшего о предмете занимательном, заговорило в Василье Львовиче.

– Не помню, может, и видел, – небрежно сказал он.

Все стали просить Алексея Михайловича рассказать о машине. Но он ел, как ни в чем не бывало, мателоту и кивал на Василья Львовича. Василий же Львович пожимал плечами и предоставлял рассказывать кузену. Он решительно не помнил, о какой машине рассказывал ему, и с самолюбием автора ожидал своего собственного описания.

Гости ждали.

Наконец Алексей Михайлович отрывисто и неохотно, кивая на Василья Львовича, рассказал о машине. В Англии, в Лондоне, изобретена машина, простая по виду: железные прутья, лесенка, вроде возка. Василий Львович что-то смутно вспомнил. По лесенке вводят быка... Это было, по-видимому, воспоминание Василья Львовича о лондонском зверинце.

– ...быка живого. Этого быка вводят...

Василий Львович точно рассказывал о перевозке зверей, которую видел. Он кивнул головой кузену.

– ...и дверь запирают. Это с одного входа, а с другого через полтора часа подают из машины выделанные кожи, готовые бифтексы, гребенки, сапоги и прочее...

Василий Львович сидел разинув рот. Он был поражен рассказом.

Алексей Михайлович, по всему, говорил серьезно. Он, видимо, спутал Василья Львовича с кем-то. Впрочем, машины теперь в Англии действительно изобретались что ни день одна другой страннее. Сергею Львовичу, который был рассеян и слышал только последнюю фразу о гребенках и сапогах, показалось, что он где-то читал о машине.

– Кажется, в «Вестнике Европы» была такая статья, – сказал он.

Тургенев с каким-то стоном оторвался от тарелки и, быстро дожевывая, прыснул. И сразу всех прорвало.

Василий Львович тоже смеялся, но почему-то тотчас вспотел и отер лоб платком.

⁵⁰ Название парижского ресторана.

– Нет, – слабо возразил он, – этой машины я не видывал и машинами, признаюсь, мало увлечен. А вот в кофейном доме я видел там бабу, так ее за деньги показывали. – И Василий Львович, захлебываясь и пуская пузыри, рассказал об английской бабе. От смущения он несколько прилгнул.

– Ты ее где видел? – отрывисто спросил кузен.

– В Лондоне, – ответил Василий Львович.

– Сколько взяли с тебя за просмотренье? – спросил кузен.

– Фунт стерлингов, – сказал Василий Львович неохотно и посмотрел на кузена, свирепея.

Но Алексей Михайлович, казалось, этого не замечал.

– А хочешь без всяких денег такую бабу увидеть?

– Хочу, – свирепо сказал Василий Львович.

– Тогда, братец, поезжай на Маросейку, в доме Кучерова, направо. В Лондон далеко ездить.

И опять, как тогда, когда дядя с отцом боролись из-за «Притч» Хвостова, Александру показалось, что над ними смеются. Блудов, казалось ему, прищурился и подмигнул Дашкову. Но Дашков был невозмутим и только краешком губ позволил себе улыбнуться на миг.

Дядя Василий Львович и в самом деле был забавен; Александр не удержался, засмеялся быстро и коротко, когда уже все замолчали, и сразу прикусил язык. Гости посмотрели с некоторым вниманием на белозубого шалуна; глаза его были живые. По всему было видно, что он понимал гораздо больше, чем можно было ожидать, и, может быть, лучше, чем следовало.

Тотчас Сергей Львович пожаловался на трудности воспитания. Нужна армия учителей! Нет такого человека, который совмещал бы знание всех этих оксигенов и пифагоров, которые теперь обязаны знать даже надзиратели, ибо такова воля *monsieur de Speransky*, французской литературы, которая, вопреки *se diacre Speransky*,⁵¹ нужна для воспитания чувства, и танцев, которые, что ни говори, развивают изящество. О, прав, трижды прав граф де Местр, который его посетил в свой последний приезд: Бог с ними, со всеми этими физиками и газами. Да и Николай Михайлович находит очень полезным для юношей танцы – и недаром! Но каждый учитель знает либо только оксигены, либо танцы. И для того, чтобы образовать сына, он пошел на все, в доме толчется армия учителей: Пэнго учит танцам, протоиерей закону Божию, m-г Руссло французской литературе – с утра до ночи, без конца. Кажется, одни иезуиты способны дать благородное воспитание.

– Старая скотина Пэнго учит детей менуэту, который козел с Ноем танцевал, – равнодушно сказал Алексей Михайлович.

Беспричинная злость бывшего Пушкина была всем в Москве известна и так же естественна, как горчица и уксус к ужину. Но Сергей Львович не терпел его реплик и, как всегда, обиделся.

– Пэнго – ученик Вестриса-старшего, – сказал он сухо.

Обед кончился. Все, выпив черного кофею, сидели в покойных креслах, более добрые, чем когда бы то ни было. Тургенев и Блудов расстегнули жилеты. Вопрос о воспитании занял бы их, если бы они не были так сыты.

– А почему вы не отдали его в Университетский пансион? – спросил Блудов равнодушно.

Сергей Львович смутился. Действительно, Сашка вырос, его сверстники были определены кто куда, и он один слонялся, как недоросль. Университетский благородный пансион был тут же, рукой подать, и проще всего было бы отдать Сашку именно туда. Но Надина ни

⁵¹ Этому дьякону Сперанскому (фр.).

о чем не заботилась, и все бременем лежало на нем одном. Он помолчал и тонко взглянул на Блудова. Нет, этот пансион... Бог с ним. Он предпочитает... Петербург.

– Вы хотите определить его в коллеж, к иезуитам? – спросил Блудов.

Сергей Львович ответил с некоторым раздражением. Ни словцо о Сперанском, ни его дружба с де Местром не были замечены.

– Да, – сказал он со вздохом, – разумеется, в коллеж. Куда же деться, только коллеж и остается.

Сергей Львович не собирался отдавать Александра в какой-либо коллеж, ниже посылать в Петербург. Он был недоволен, что затеял весь этот разговор о воспитании.

Тургенева одолевала тайная внутренняя икота, с которой он видимо боролся, то подавляя ее, то уступая природе. Оборотясь к Сергею Львовичу, положив руку на брюхо и посмотрев туманным взглядом на Александра, он торопливо сказал:

– В Петербург его, в Петербург...

Тут и Дашков, неподвижный, как монумент, невозмутимый, обратил свое внимание на Пушкина-племянника. Потом, скользнув косвенным взглядом по Сергею Львовичу, он сказал:

– Иезуиты дороги.

Сергей Львович почувствовал себя оскорбленным. Слегка откинувшись в кресле, он быстро повернулся к Дашкову и сухо спросил:

– Сколько же берут святые отцы, *ses reverends pères*,⁵² за воспитание?

Дашков опять поглядел на него спокойным взглядом и еще короче ответил:

– Не знаю.

Тургенев, который по должности своей мог бы это знать, тоже позабыл.

– Тысячи полторы, две, – сказал он.

И вдруг Александр увидел, как отец весь изменился. Легкая улыбка появилась у него на губах, он слегка прищурил глаза; что-то похожее на гордость, на отчаянную гордость лгуна и завистника появилось во всем его существе, и с искренним удивлением, не повышая голоса, Сергей Львович спросил Тургенева:

– Это за все?

– Да, – сказал Тургенев, – за все.

– Но это вовсе не много, – спокойно и медленно сказал Сергей Львович.

Дашков поглядел на него. Полторы и две тысячи были плата непомерная, и иезуиты в Петербурге ее назначили единственно с той целью, чтобы привлечь в свой пансион избранное юношество и чтоб к ним не совалась всякая дворянская мелочь и голь. Сергей Львович в это мгновение забыл все цифры в мире – и сколько денег задолжала Nadine во французскую лавочку, и сколько задолжали в лавке за масло, уксус и яйца. Впрочем, он ждал вскоре из Болдина пополнения.

Шаликов, который давно ждал своего часа, решил, что он настал, и хриплым голосом стал читать какой-то свой романс; не было гитары, и он, к сожалению, не мог спеть его; гости слушали и не слушали. Каменное равнодушие было на обширном лице Дашкова; глазки Блудова смежились; Тургенев мерно дышал, все реже борясь с икотой. Сергей Львович, безмерно довольный собою за свой ответ Дашкову, один внимал поэту.

Александра никто не замечал. Он пошел бродить по дому. В боковой комнате, которую он всегда считал нежилой, он нашел молодую женщину, сидевшую за пядьцами. Она, завидев его, быстро встала и поклонилась. Они разговорились. Лицо у нее было доброе, широкое, белые руки быстро и проворно бегали по пядьцам. Александр смутно знал из разгово-

⁵² Эти преподобные отцы (фр.).

ров, что у дяди Василья Львовича живет Анна Николаевна, которую тетушка Анна Львовна еще иногда называла по старой памяти Анкой. Он все вдруг понял.

Она спросила его об обеде и покраснела от удовольствия, узнав, что все вкусно. Скоро он стал помогать ей разматывать шелк. Потом она стала гнать его.

– Как бы не заругали, – говорила она с опаской, – дяденька заругают, – и вдруг несмело погладила его по голове и улыбнулась.

– Уходите, уходите, Александр Сергееч, – заговорила она быстро и замахала на него руками.

Ему ни за что не хотелось уходить из комнаты. Гости ему не нравились; они были чванные. Дашкова он невзлюбил. А здесь, в комнате, было тепло, и глаза у Аннушки были веселые, и эта смиренная затворница и эта комната вдруг необыкновенно ему понравились. Дядя Василий Львович, который теперь хлопотал в гостиной и над которым посмеивался Дашков, снова возрос в его глазах. Он не хотел идти прочь, упрямылся и упирался. Тогда Аннушка, обняв его и закрутив руки, вдруг с неожиданной силой и ловкостью вытолкнула его за дверь.

Была пора; его звали; гости уже разъезжались и шумно одевались в передней. Шаликов, красный и недовольный, сумрачно влезал в рукава шубы. Романсы его не имели успеха; все некстати засмеялись на самом нежном стихе из-за урчания, вдруг раздавшегося: Александр Иванович не совладал с природою. Новые друзья смеялись, казалось, над всеми – и над петербургскими стариками и над друзьями Карамзина. Шаликов решил сегодня же писать графу Хвостову, который умел ценить друзей, не так, как эти молокососы.

Уже зажгли фонари, когда они возвращались домой. Москва засыпала.

Сергей Львович на вопрос сына, кто таков Блудов, долго молчал и потом неохотно, со вздохом и брюзгливо сморщась, ответил:

– Все они дипломаты.

Александр ничего не спросил об Аннушке. Он чувствовал, что не нужно, нельзя спрашивать об этой веселой затворнице.

Глава девятая

1

Среди забав родители приметно состарились. Мягкие, как лен, волосы Сергея Львовича редели, сквозили по вискам, и на макушке розовела уже лысина. Надежда Осиповна раздалась, и ее лицо огрубело. У них родился сын Павел, который, впрочем, вскоре скончался.

Они вели жизнь эфемеров, считали втайне дворню, учителей и детей крестом, и если бы кто спросил внезапно Сергея Львовича, богат ли он, знатен ли и как себя понимает, – на все было бы два ответа. Он в глубине души считал себя богатым, а скупился из осторожности; считал себя и знатым – по происхождению, а чин его и звание были: провиантского штата комиссионер, седьмого класса. Это была грубая сущность, от которой он отворачивался. Давая иногда полтинник старшему сыну для отроческих забав – дитяти исполнилось уже десять лет, – он тревожился, не потерял ли деньги сын, и проверял иногда целостность полтинника. Как только заводились деньги, он шил себе у портного модный фрак и покупал жене перстень, память сердца.

И вот однажды они разорились.

Беда, как и всегда, пришла от Аннибалов.

Дяденька Петр Абрамыч не забыл обиды и вдруг выступил как прямой злодей.

Марья Алексеевна надеялась провести остаток дней в своей усадьбе и не хотела более помнить о черных днях своей молодости. Она не поехала даже в Михайловское получать наследство. Самая память об Аннибалах была ей, казалось, несносна.

И вот ее усадьба и покой, как в дни молодости, опять оказались прах и дым, и она без крова. Более того, самое Михайловское оказалось под ударом.

Угомонившийся, казалось, в своем сельце Петровском, мирно кончавший, казалось бы, свои дни любителем настоек и наливок, африканец внезапно предъявил ко взысканию в Опочецкий суд заемные письма покойного брата Осипа Абрамыча. Письма эти были даны покойным в дни жестокой страсти к Толстихе, как звала ее Вульф, и, казалось, забыты обоими братьями. Деньги по ним причитались большие, потому что покойному арапу всякая жертва казалась мала для женских прелестей: по одному письму (золотой сервиз и сад для Устиньи) – три тысячи рублей, по другому (гнедые в яблоках кони и хрусталь) – восемьсот сорок два рубля.

Петр Абрамыч явился как бы мстителем за все обиды, когда-либо претерпленные Аннибалами. Вскоре в Михайловское прикатили тот же заседатель с приказным, которых Палашка называла пиявицами, и, несмотря на сопротивление кривого поручика, заявившего, что ни гроша в доме нет, и выпустившего было на них пса, учинили опись с оценкою.

В то же время предъявили и Марье Алексеевне иск, и вскоре Захарово пошло с молотка. Сергей Львович и Надежда Осиповна, получив письмо поручика, долго не хотели ему верить и, только увидев в окно въезжающую повозку, на которой сидела Марья Алексеевна, поняли происходящее. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и заплакал, как ребенок. В течение дня он дважды принимался ломать руки и хрустеть суставами, а потом впал в ярость и, брызгая слюной, кричал, что Иван Иванович Дмитриев не оставит так этого дела, грозил старому арапу Сибирью и монастырем; к вечеру притих и дал Никите увести себя в спальную.

Назавтра приступили опять к чтению поручикова письма. Место, где поручик упоминал о своем псе и сражении с заседателем, вызвало общее одобрение.

– Молодец, – сказала Марья Алексеевна, – сразу видно, честный человек.

К сумме долга она отнеслась недоверчиво и махнула рукой.

– Знаю я его. Больше двух тысяч ему было уплачено; второй раз на водку, пьяница проклятый, требует!

Сразу же после этого Сергей Львович сел писать письмо Ивану Ивановичу Дмитриеву. Первые две страницы, в которых он выразил негодование на людей бесчестных, холодных сердцем и жестоких, а также надежду на дружеское попечение, были сильны, сдержанны и превосходны. Далее предстояло изложить обстоятельства дела. Он написал о деньгах, которые старый и впавший в пороки генерал-майор нелепо требует с людей, ни в чем не повинных и никем, кроме Бога, не одолженных: три тысячи восемьсот сорок рублей, тогда как по этим счетам почти уже все – более двух тысяч рублей – уплачено. Здесь Сергей Львович привел слова Марьи Алексеевны; он почти верил в это, и так подсказало ему чувство оскорбленного достоинства. Так что долгу осталось всего тысяча рублей. И за какую-нибудь тысячу рублей злодейски описали обширные уголья.

Далее следовало написать о количестве деревень и людей, описанных злодеями.

Он спросил Надежду Осиповну, сколько деревень у них под Михайловским.

Надежда Осиповна вспомнила выпись, выданную приказным, сургучную печать, черный крестьянский пирог, чиненный морковью, и, ни за что не желая сознаваться в небытии деревень, ответила:

– Двадцать.

Сергей Львович так и написал.

– А сколько, мой ангел, там душ и людей?

Надежда Осиповна подумала. Толпа дворовых и мужиков в сермягах припомнилась ей.
– Двести, – сказала она.

Сергей Львович с горечью написал и об этом поэту: за тысячу рублей описаны родовое село Михайловское, двадцать деревень и двести душ; и это сделано против закона, без стыда и совести. Об имени Марьи Алексеевны он министру написал, но как о деле безнадежном не ходатайствовал, а она его об этом не просила.

Марья Алексеевна снова ютилась на антресолях и тенью ходила по дому, тихая и тоненькая, не находя себе дела и робея. Она, вздыхая, гладила детей по головам, присматривалась к ним с удивлением:

– Выросли.

– Тает, – сказала о ней тихонько детям Арина, – что свеча, – и махнула рукой.

Письмо Сергей Львович долго и старательно запечатывал перстнем и, запечатав, вздохнул с облегчением.

Никита послан к Василью Львовичу с извещением о случившемся несчастье, и при-
были сестры.

Аннет припала к голове брата и поцеловала его в розовую лысину. Сергей Львович был тронут до слез и только теперь почувствовал всю глубину несчастья. Он всплеснул руками и замер.

Приехал Василий Львович, извещенный Никитой. Он в сильном волнении сбросил шубу на пол и просеменил к брату, на ходу поцеловав руку невестке.

Сергей Львович склонился к нему на плечо.

– Oh, mon frere,⁵³ – сказал он, невольно вспомнив Расина, и голос его пресекался.

Потом он обнял Сашку и Лельку, смотревших на него со вниманием, прижал их к груди, точно ограждая от нападения, и, явив таким образом Лаокоона с сыновьями, воскликнул, обращаясь к брату:

– Не о себе сожалею.

Сыновние носы были крепко прижаты к отцовскому жилету, пропахшему смешанным запахом духов и табака. Сыновья задыхались.

– Брат, брат! – лепетала Анна Львовна.

Василий Львович почувствовал зависть, благородную зависть артиста. Тальма ожился в нем. Он и сам готов был к этим движениям сердца – к объятию и стонам. Брат предупредил его.

Внезапно он сказал, холодно прищурясь и цедя слова:

– Cela ne vaut pas un clou a soufflet. Все это не стоит медного гроша, выслушай меня.

Сыновья почувствовали, как отцовские объятия слабнут. Они с любопытством покоились на дядю. Все смотрели на него: Сергей Львович – разинув рот, сестрица Лизет – со страхом.

Василий Львович прошелся по комнате, высоко подняв голову.

– Pas un clou a soufflet, – повторил он еще раз медленно. Он сам не понимал, как это сказалось. Едучи к брату, он считал его погибшим и теперь придумывал, что бы такое сказать или сделать и как объяснить свои слова.

– О брат, брат, – трепетала Анна Львовна.

– Я напишу Ивану Ивановичу, – сказал Василий Львович, все так же сощурясь, – и завтра же все отменится. Будь покоен, – продолжал он, – они в наших руках.

И Сергей Львович успокоился. Василий Львович, старший брат, выказавший такую твердую решимость, казался ему прочнее и могущественнее, чем даже сам этого хотел. Лег-

⁵³ О, брат мой (фр.).

коверие Сергея Львовича было поразительное. Но выйти из состояния печали он не хотел или не мог. Перстом указывая на Александра, он вздохнул:

– О коллеж!..

Мечты об иезуитах и гордый ответ богачам припомнились ему. Ныне это рушилось. Таков был смысл восклицания.

Видя кругом восторженные взгляды сестер и недоверчивые глаза невестки, удивляясь сам себе, Василий Львович сказал спокойным голосом:

– Я сам везу его в Петербург к иезуитам.

Он осмотрелся кругом. Надежда Осиповна, полуоткрыв рот, сидела притихшая, как девочка, и смотрела во все глаза на него.

– Будьте покойны, друзья мои, – сказал скороговоркою Василий Львович, – я все беру на себя, и все это... но все это – *pas un clou a soufflet*.

Он кисло ответил на поцелуй сестер, повисших у него на шее, обмахнулся платком и вышел, оставив всех в оцепенении. Сев в свои дрожки, он с недоумением закосил по сторонам. Доехав до Тверской, он потер себе лоб и развел руками. Он сам ничего не понимал. Великодушие опять увлекло его. Он выпятил губу, как школьник, застигнутый на шалости. Проезжая по Тверской, он велел остановиться у кондитерской, нашел приятных и милых знакомцев и сообщил приятелям, что везет в Петербург племянника определять к иезуитам. Приятели посмотрели на него с интересом и были, казалось, довольны. Вскоре явился князь Шаликов. Он теребил, как всегда, в руках белоснежный платочек и приятно всем улыбался. Панталоны его были в обтяжку и сшиты по последней моде; Василий Львович иногда завидовал его новым панталонам. Услышав, что Василий Львович везет своего племянника, юного птенца, в Петербург к иезуитам, князь поставил свою чашку шоколаду, обнял Василия Львовича и крепко, троекратно его расцеловал. Он крикнул кондитерского ганимеда, и тот принес холодного бордоского. Все выпили за здоровье Василья Львовича и сердечно с ним расцеловались.

Князь просил его передать поцелуй души несравненному. Все чокнулись за здоровье несравненного, чувствуя и зная, что пьют за Ивана Ивановича Дмитриева.

Спросили Василья Львовича, надолго ли едет он.

– Надолго, – ответил Василий Львович меланхолически. Самое слово «надолго» было полно печали и значения.

Потом спросили еще бургонского, потом аи, а затем был обед.

Подъезжая к дому, отяжелев, Василий Львович чувствовал себя решительно счастливым, задремал на своей кушетке, такой, как у Рекамье, и, только к вечеру проснувшись, хлопнул себя по лбу, и Аннушке послышалось, что ее султан как бы произнес:

– Что наворотил!

Оборотясь к ней, он сказал со вздохом, чтоб собирала вещи, что он едет в Петербург.

Аннушка спросила, надолго ли, и Василий Львович, мрачно и загадочно посмотрев на нее, ответил:

– Надолго.

Аннушка, испугавшись, стала было собирать его в дорогу, но Василий Львович, махнув рукой, сказал, что поедет через месяц.

Недовольный собою, он провел дурной вечер и долго не мог заснуть.

Назавтра утром, лежа в постели, он ясно представил себе петербургскую жизнь, увлекся воображением, пришел в восторг от того, что можно будет пройтись по Невскому проспекту, прочел наизусть свое последнее стихотворение, воображал себя уже в гостинной Ивана Ивановича Дмитриева, произнес еле слышно за каких-то прекрасных слушателей:

– Bravo! Bravo! – и потом, встав, набросив халат и попив чаю, стал соображать не ехать ли в самом деле в Петербург всем домом – и с Аннушкой?

Эта мысль ему чрезвычайно понравилась. В Петербурге было много приятелей, и это была, что ни говори, столица государства. Василий Львович, коренной москвич, вдруг почувствовал, что Москва никак нейдет теперь в сравнение с Петербургом. Она устарела.

Как все Пушкины, он был скор на переходы.

2

Часто Александр бродил по комнатам, ничего не слыша и не замечая, кусая ногти и смотря на всех и на все, на мусье Руссло, на Арину, на родителей, на окружающие предметы отсутствующим, посторонним взглядом. Какие-то звуки, чьи-то ложные, сомнительные стихи мучили его; не отдавая себе отчета, он записывал их, почти ничего не меняя. Это были французские стихи, правильные и бедные; рифмы приходили на ум ранее, чем самые строки. Он повторял их про себя, иногда забывая одно-два слова и заменяя их другими; вечерами, засыпая, он со сладострастием вспоминал полузабытые рифмы. Это были стихи не совсем его и не совсем чужие.

Сергей Львович недаром хвастался Руссло. Руссло был педагог во всем значении слова, он строго требовал от ученика правил арифметических и грамматических; прежде же всего правильного распределения времени. Когда уроки были выучены, он допускал игры и шалости. Он мирился с бегом взапуски, если Александр не избирал для этого товарищами каких-нибудь дворовых мальчишек, как то дважды случалось; мальчики в пору развития своих телесных способностей должны резвиться. Прыжки и скачки через кресла и табуреты менее ему нравились; он совершенно не одобрял, наконец, дикой беготни и суматохи, когда Александр как одержимый все ронял и опрокидывал на своем пути, при этом крича или напевая какую-то бессмыслицу, нестройный вздор.

Но его выводила из себя эта дикая рассеянность, молчание, немота, когда Александр не откликался на окрики, занятый какими-то странными мыслями; но и мыслей у него не было – это выдавал его неровный взгляд. Да в таком возрасте и не должно быть. Мусье Руссло стал за ним наблюдать и подстерег: мальчик что-то писал, озираясь и, видимо, боясь, что его застигнут.

Вскоре дело разъяснилось; Руссло нашел несколько листков, спрятанных от постороннего взгляда под матрас. Это оказались французские стихи, а по легкой несвязности строк мусье Руссло заключил, что это собственные стихи Александра. Он прочел их, улыбаясь без всякой приятности. Руссло и сам был автор. Трижды пытался он проникнуть в печать и посылал свои стихи в «Альманах де мюз». Трижды он встречал отказ и как автор озлобился. Он подозревал интриги и козни печатавшихся поэтов, из которых многие, по его мнению, писали хуже его. Поэтому Руссло кисло прочел стишки дьявольского мальчишки, который был еще дитей и уже осмеливался марать бумагу, сочинительствовать. В особенности уязвило его, что стихи были правильные; однако в них была куча ошибок противу правописания. Руссло их исправил, а наиболее грубые ошибки подчеркнул двойной чертой. Кроме того, он сбоку начертал карандашом большой знак вопроса, выразив этим свои сомнения в уместности стихов.

Надежда Осиповна покровительствовала французу, который чувствовал себя у Пушкиных привольно. Сергей Львович искусно пользовался влиянием француза для того, чтобы устраивать свои дела; он нарочно вызывал его на рассказы, когда хотел улизнуть. Надежда Осиповна любила послушать Руссло и не замечала отсутствия мужа. Так мусье Руссло стал необходимым членом семьи, и ему случалось даже бывать посредником между супругами при ссорах. Надежда Осиповна советовалась с ним при шитье платьев; комплименты француза она принимала с удовольствием; замечания его обнаруживали совершенное понимание бывалого бульвардьера и всегда касались высоты талии и глубины выреза.

После обеда Руссло приступил к делу. Он скучным голосом сказал, что, как честный человек, вскоре принужден будет отказаться от своих обязанностей и чувствует себя лишним. Надежда Осиповна и Сергей Львович изумились: ничто не предвещало такого заявления; с утра Руссло был, казалось, весел и тихонько насвистывал, за обедом, хотя и задумчив и чем-то, видимо, занят, но ел так много, с таким аппетитом, что Сергей Львович под конец даже огорчился. На вопросы, обращенные к нему, Руссло долго не хотел отвечать, но затем неохотно, взвешивая слова и выражения, пожаловался на Александра, на его леность и праздность, победить которую он не в состоянии. Александр насупился и вдруг коротко и грубо сказал:

– Неправда.

Надежда Осиповна хотела было прогнать его из-за стола, но француз удержал ее.

Вынув из кармана аккуратно сложенные листки, он начал читать стихи, медленно, с эмфазой, подражая какому-то трагическому актеру, а в конце каждого стиха изумленно вздергивал брови. Успех был разительный – Надежда Осиповна звонко захохотала, а Сергей Львович, которому редко приходилось смеяться, был рад, что Руссло остается и все оказалось фарсом.

Тут они взглянули на автора, Сашку, не без благодарности за то, что он доставил им это развлечение. Мальчик сидел у края стола и мял в руках край скатерти. Мать постучала по столу, как всегда делала, призывая детей к порядку. Он не слушал и продолжал быстро наматывать скатерть на палец. Она его окликнула. Тогда он встал и посмотрел на них, не видя их и как бы ничего не понимая. Лицо его было белесое, тусклое, рот подергивало, глаза налились кровью. Мягким внезапным движением он бросился к Руссло, как бросаются тигрята, плавно, и вдруг – вырвал у него из рук стихи и со стоном бросился вон из комнаты.

Все остолбенели. Руссло, оскорбленный как педагог и как остроумец, молчал и ждал, что скажут родители. Но Надежда Осиповна притихла, а Сергей Львович молчал. Что ни день, приходилось ему либо ссориться, либо унимать ссоры. Пообедавать не дадут. Он негодовал решительно на всех – что ни день, то нелепости. Как на вулкане.

Руссло вспомнил о своих обязанностях. Он сам отправился объясняться с питомцем. Надежда Осиповна сидела скучная, отяжелевшая и ждала. Сергей же Львович с тоскою вспоминал о невозвратных днях, когда он ел славные щи у Панкратьевны и Грушка прислуживала ему со всей безыскусственной готовностью. Жива ли она и, главное, здорова ли? Он почувствовал, что его снова тянет к этой беспечной жизни, к обществу холостяков, роконосцев и вольных дев. А между тем он сидел за столом, пообедав, скучая и ожидая конца очередной ссоры. И тут из детской донесся тонкий жалобный крик. Они опрометью бросились туда. Кричал Руссло, призывая на помощь.

Топилась в детской печка; у самой печки лежали брошенные охапкой дрова, и корчилась на углях, то бледнея, то чернея, сгоревшая бумага. Руссло стоял тут же, у печки, прижавшись в угол, выставив обе руки вперед для защиты и призывая на помощь. А перед ним, как маленький дьявол, стоял, оскалив радостно зубы и высоко занеся круглое полено, – Александр. Положение француза было самое жалкое. Надежда Осиповна бросилась к Александру и стала отнимать полено. Против ожидания, она не могла с ним сладить, сын оказался неожиданно сильным. Выгнувшись, как пружина, он крепко сжимал свое оружие, и мать не могла разжать его пальцев.

Наконец он сам метнул полено в угол и бросился вон из комнаты.

Руссло отдышался. Он был оскорблен до глубины души; вскоре он рассказал: войдя, он заметил, что Александр сидит на корточках и жжет эти свои бумажонки, *paperasses*. Он попросил его встать. Мальчик не повиновался. Тогда он притронулся к его плечу, повторив приказание. Вместо того чтобы исполнить приказ учителя, мальчик схватил полено и напал на него, не дав даже времени для того, чтобы принять меры обороны. Руссло увернулся от

удара, счастьем и всем был обязан своей ловкости; старый рубака сказался в нем. Руссло просил освободить его от обязанностей воспитания этого маленького монстра.

Родители вздохнули оба разом и стали его упрашивать остаться. Француз был непреклонен. Наконец Надежда Осиповна заговорила о прибавке жалованья, и упорство воспитателя поколебалось. Сергей Львович скрепя сердце прервал переговоры, опасаясь, как бы жена не прибавила лишнего. Наконец учитель с чувством поклонился и заявил, что остается единственно из благородных чувств, проявленных родителями.

Александра искали и нашли у Арины.

К его удивлению, его не тронули.

Но по ночам он часто просыпался; сердце его гулко билось, глаза застилала ненависть. Он вглядывался в лицо спящего с холодом и бешенством. С тех пор как он затолкал в печку свои листки, опозоренные рукою француза, он не переставал упорно, страстно желать его смерти. Будь он старше, он вызвал бы его; Монфор недаром рассказывал ему о дуэлях и показывал выпады в терцу и кварту. Но шпаг не было, и его осмеяли бы.

Незаметно воображение увлекало его. Он бежал из этого дома, из Москвы; бродил по дорогам; слава окружала его. Он воображал глупый вид Руссло, который проснулся и не нашел его утром в комнате. Однажды он тихонько встал, дождался за дверью Русслова пробуждения и сквозь щелку наслаждался растерянным видом сонного Аргуса. Француз, казалось, что-то понял, заметил в маленьком монстре; он присмирел и стал обращаться с ним как со взрослым, лстя его самолюбию. Перед сном, ссылаясь на то, что из окна дует, он передвигал свою постель к дверям, переносил урыльник и спал, как цербер, у самого порога.

3

В двенадцать лет, в своем наряде, сшитом домашним портным, с острыми локтями, он казался чужим в своей семье. Как затравленный волчонок, поблескивая глазами, он шел к утреннему завтраку и с принуждением целовал у матери руку. Ему доставляло радость превратно толковать смысл родительских разговоров. В двенадцать лет он беспощадно судил своих родителей холодным, отроческим судом и осудил их. Они не подозревали об этом. Но и они стали тяготиться и с нетерпением поджидали, когда уж Василий Львович вспомнит о своем обещании. Как все не клеилось в этом году; пусто и холодно в этом доме.

4

У Сергея Львовича была драгоценная черта, которая помогала ему жить, была залогом счастья: он был неспособен к долгой печали. Пролив слезу, он тотчас же оживлялся, вспоминая острое слово, слышанное вчера, или забавный случай. Забавных случаев было в Москве всегда много. Царь, посетивший Москву, в Дворянском собрании вел в первой паре старуху Архарову, и в это время дама почувствовала, что теряет исподнее. Как древняя римлянка, старуха, не подавая вида, пренебрегла, наступила на упавшее исподнее и с гордой осанкой села рядом с царем. Старики московские гордились, хвастались и утверждали, что ни одна из нынешних модных красавиц не способна на такой поступок:

– Глазом не сморгнула!

Все это Сергей Львович рассказывал уже на второй день после потери Михайловского.

Письма Ивану Ивановичу посланы, этим самым приняты необходимые меры, и оставалось ждать. По вечерам Сергей Львович вспоминал, как гостил у тестя, и в воспоминаниях село Михайловское казалось обширным владением, окруженным дремучими лесами, с озером, которое по пространству более всего напоминало море; «морцо», – сказал Сергей Львович; дом был большой, уютный и теплый, старинный; службы удобно размещены. Леса кругом необъятные. Надежда Осиповна слушала и не возражала, а Марья Алексеевна, ути-

рая слезы платочком, горевала о своем Захарове и все сказанное зятем относил именно к нему. Наконец она дала совет зятю и дочери написать прямо самому злодею.

– Может, это на него так, нашло, а теперь уж и передумал. У них у всех это бывало – от мнения. Может быть, опомнился и уж сам жалеет.

Сергей Львович нахмурился и наотрез отказался.

– О нет, – сказал он с недобрым спокойствием, – он пожалеет! Нет. Я писать не стану.

В тот же вечер, не без трепета и отвращения, он написал письмо генерал-майору, прося его взыскание отложить, а самое дело прекратить. Если же сие невозможно, его превосходительство благоволит потерпеть короткое время, по неимению в наличности денег. Надеясь на благородство дворянина и дяди, он ждет от его превосходительства ответа, а впрочем пребывает с совершенной преданностью и проч. Надежда Осиповна сделала к письму краткую приписку.

Ответа ни от Ивана Ивановича, ни от арапа не было.

Сергей Львович начинал роптать. Он так отчетливо воображал свою потерю, что более не ожидал спасения. Он роптал на Ивана Ивановича Дмитриева, который так занесся, что и ответить не может старым друзьям, роптал на правительство. Наконец он дошел до того, что объявил единственным царствованием прямо благородным недолгое царствование Третьего Петра.

– Поцарствуй он еще года с три, – сказал он однажды, – не я у Ивана Ивановича просил бы заступничества, а он у меня.

Как отнятое Михайловское в воспоминаниях становилось обширным поместьем, так и потерянное еще его отцом значение становилось в прошлом решительным могуществом Пушкиных.

– А потом пошли *tous ces coquins*,⁵⁴ все эти плуты, конюхи, которые кричат во все горло – *a gorge deployee*, – а о чем кричат? Бог весть. И теперь с кем говорить? *Chute complete!*⁵⁵

Все эти должности, департаменты, присутственные и судейские места он строго теперь осуждал:

– Ябеда есть ябеда, а приказный всегда крючок и более никто.

И вдруг, когда уж перестали ждать, получен пакет от Ивана Ивановича, запечатанный толстою сургучной печатью.

Сергей Львович распечатал пакет. Руки его дрожали, как в ту памятную ночь, когда он был в проигрыше и вдруг ему повезло: открылась счастливая талия.

Иван Иванович посылал Сергею Львовичу копию с рапорта псковского губернского прокурора. Сергей Львович прочел, бросил на пол и растоптал ногой. Он был бледен.

Прокурор, по-видимому, был поклонник наливок и настоек старого арапа; рапорт его был неприличен и груб. Прежде всего были странны цифры – он насчитал – «видимо, с пьяных глаз», – сказал Сергей Львович – всего в Михайловском дворовых людей и в деревнях крестьян мужеска 23 и женска пола 25 душ, а не двести, как полагали Сергей Львович и Надежда Осиповна. Господин Пушкина жалоба вовсе несправедлива, – писал далее этот негодяй – *ce faquin de prikazny*,⁵⁶ – поелику от него платежа двух тысяч рублей нигде не видно.

– Не видно! – сказал, бледнея и усмехаясь, Сергей Львович. – Превосходно написано: не видно.

А кроме того, генерал-майор Ганнибал представил в суд племянницы его Надежды и мужа ее Пушкина письмо, коим они просили его, Ганнибала, по неимению денег...

⁵⁴ Все эти негодяи (фр.)

⁵⁵ Полное падение! (фр.)

⁵⁶ Этот плут приказный (фр.).

Сергей Львович пропустил две строчки... но он, Ганнибал, на это никак не согласен. И, видимо, все написанное теми же Пушкиными есть одно напрасное затруднение начальства в переписках.

– Я поеду к государю, – сказал Сергей Львович и крикнул Никите: – Одеваться!

Только после этого прочел он письмо Ивана Ивановича. Поэт был любезен и писал, что отдал прокурору, рапорт коего в копии он посылает Сергею Львовичу, приказ исполнение дела отсрочить и притеснений не чинить. К пересмотру же дела он, к сожалению, поводов не находит. Далее он просил кланяться милым его сестрам. Василью Львовичу он будет писать особо.

Сергей Львович мгновенно успокоился. Взяв с полу щипцами рапорт мерзкого прокурора, он бросил его в камин и уничтожил самый пепел.

Назавтра никто бы не сказал, что еще недавно Сергей Львович был готов ехать к государю и бранил правительство. Исполнение дела отсрочено – а это было самое главное. Могло пройти и пять и десять лет до этого исполнения, а там наконец – глядь – с Божьей помощью и дядя умер. Нет, и после Третьего Петра с грехом пополам можно было жить. Конечно, Иван Иванович, пожалуй, мог бы и вовсе истребить это дело, но уж Бог с ним. Впрочем, совершенно излишне посылать какие-то копии, рапорты всех этих каналов, над которыми он начальствует. Можно быть вельможей, не будучи светским человеком, и поэтом, не понимая истинного приличия. Самые стихи Ивана Ивановича вдруг стали менее нравиться Сергею Львовичу: в них встречались натяжки.

Михайловское опять принадлежало им и уж более не было тем громадным поместьем, которым казалось, когда его отняли. Дом был, может быть, и уютен, но крыт соломой.

А о Сашке и устройстве судьбы его можно было не думать. Все складывалось превосходно: братец Базиль везет его в Петербург, к иезуитам, и Сашка будет воспитываться вместе со всеми этими юными бездельниками Голицыными, Гагариными и *tutti quanti*.⁵⁷ *Ces reverends pères*, святые отцы, образуют его характер, который, правду сказать, несносен. Вечная возня в доме, драки с Лелькой и ссоры с Руссло – хоть кому надоест.

5

Олинька двигалась по дому неуверенно, всем существом чувствуя и зная, что она нелюбима. Она боялась матери до дрожи в коленках и бледнела от сурового взгляда; она хитрила, скрывала и во всем лгала – даже тогда, когда это было не нужно.

– *Parole d'honneur*, честное слово, – лепетала она, когда ей не верили.

Если бы не ее мелкая походка, походка девчонки, которая знает, что нашла, и боится наказания, да не блуждающие взгляды, по которым было видно, что она лжет, да не бесцветные ресницы, она бы, может быть, была миловидной. Она была вся в Сергея Львовича и разве грубоватым носом да еще чем-то вокруг рта – в мать. Волосы ее вились по вискам. Мимолетные гувернантки, которые раза два появлялись в доме то на месяц, то на неделю и исчезали бесследно, ведали ее воспитанием. Монфор не замечал ее. Руссло как рачительный член семьи учил и ее изредка французской грамматике и правилам арифметики. Ходил к ней одно время какой-то вечно пьяный немец-танцмейстер и учил стучать на клавикордах; играл он плохо, да был дешев. Олинька сбивалась с такта, он пребольно бил Олиньку за это по руке линейкой, она хныкала, музыка эта надоела Надежде Осиповне, и музыкальное образование Олиньки было закончено. На клавикордах в будни стояли тарелки с обедками, а когда ждали гостей, тарелки и все другое убирали и стирали пыль; но клавикордов никто не касался; как гроб, стояли они в гостиной.

⁵⁷ Прочими (ит.).

Олинька любила Сашкины выходки; ссоры его с матерью и Руссло были для нее праздником; она со сладострастием, спрятавшись за дверь, слушала выговоры Руссло, крики матери и в ответ это странное, короткое фыркание – Сашкины ответы.

Она была безмолвной свидетельницей Сашкина нападения на Руссло и, втянув плечи, с горящими глазами, открыв рот и затаив дыхание, подсматривала в замочную скважину. Комнаты их были рядом. С этого времени – в особенности потому, что Сашку не наказывали, – она питала к нему боязливое уважение.

Вдруг, в одно утро, оказалось, что она уже не ребенок, что-то новое появилось в походке, вечером ее заметили гости, сказали: как выросла! Невеста! – и Надежда Осиповна испугалась. Неужто ей впрямь тридцать шесть лет, и дочь ее – подросток, девушка, скоро, может быть, невеста? Она до полдня сидела у зеркала неодетая и пристально на себя глядела. Кроме глаз да зубов, ничего молодого в лице не было. Но шея, но грудь, но тяжело-весный стан, который прельстил Сергея Львовича, – неужто впрямь она уже старуха? Сыновья росли, это ее не старило, она не много и не часто о них думала. У Сашки был дурной характер, его вскоре отвезут к иезуитам, Левушка толст и прелестный. Но она не желала, чтоб ей говорили: у вас дочь невеста. Жизнь пролетела и канула без страстей, без измен, без событий. Она жалела, что когда-то, до Сергея Львовича, не было у нее катастрофы с тем гвардейцем, с пьяницей. Он, кстати, тогда и не был пьяница. Как надоели ей эти мужнины декламации перед камином, его остроты, его шлафрок, его походка.

Она стала строже к Ольге; дети разоряли их – одни наряды сколько стоили! Ольга отныне ходила в затрапезе. Арина штопала ей чулки, зашивала дыры и молчала. Ольга шепотком, быстро ей жаловалась, но Арина привыкла к ее жалобам и помалкивала.

Однажды Оле некому было пожаловаться, был вечер, родители уехали, Руссло ушел со двора. Она нашла Сашку в отцовском кабинете за книгами и быстрым шепотком, как всегда, начала жаловаться на маменьку и папа, на брата Лельку, которому достаются за обедом все лучшие куски, а потом сказала с чувством, что она в восторге от Сашки, что все его проделки – прелесть, а Руссло – скотина.

Дружба была заключена.

Ему польстило признание Ольги и почти суеверный страх и восторг в ее глазах. Но он презирал ее быстрый шепоток, ее трусость, и ему не нравилось, что она всем на всех жалует и так умильно смотрит на маменьку, желая заслужить ее расположение.

Ему было жаль ее и досадно.

– Ты плакса, а я шалун, я их не боюсь, – быстро сказал он ей.

Глава десятая

1

Он знал, что скоро уезжает. Все в доме на него смотрели по-другому; к нему не придирались более, и он был предоставлен себе самому. И сам он со стороны взглянул на этот дом, на свою комнату, на тот угол, между печью и шкапом, где он, грызя ногти, читал книги, а раз чуть не убил своего воспитателя. Все показалось ему беднее, меньше, жалче. Отец, которого он считал высоким, оказался маленького роста. Впрочем, он мало думал о них всех. В мыслях своих он уже мчался по столбовой дороге, обгоняя всех путешественников, а там уже был в Петербурге, чудесном городе, о котором вздыхал отец, завидовавший ему, и который ругали все знакомые старики.

Походка его незаметно стала более быстрой.

У него была особая, плавная походка: тело подавалось вперед, а шаги растягивались. Он много гулял теперь по Москве, и самолюбивый Руссло напрасно напоминал ему об экзаменах. Экзамены более пугали Руссло, чем его воспитанника.

На Москву, на московские улицы, дома, людей он тоже теперь глядел по-иному – чужим, быстрым взглядом. Бесконечные обозы тянулись по Москве, медленно кряхтели возы, медленно шагали рядом мужики, везущие деревенскую дань. А там вдруг – гремел из переулков смех и московские шалуны на тройках, с бубенцами, пролетали, махнув на все рукой. Дома то прятались в садах, то здесь и там лезли каменными ступнями на обочины, словно строптивые глухие старики, наступающие прохожим на ноги.

Широкие улицы Москвы показались ему теперь нестройными.

Шли дома вельмож, спрятанные в глухие, как лес, дремучие сады, московские замки, в которых смеялись над Петербургом и над франтами и старели среди войска старух, отрядов дворни, арапов, мосек; и вдруг в неурочный час доносилась оттуда роговая музыка: старый Новосильцов кушал чай.

С криком: «Пади!» пробежали скороходы, и тяжело прогрохотала странная карета. И Александр с изумлением, со стороны – заметил этот выезд: стояли на запятках пять арапов, а впереди, в странных нарядах, с белыми перьями на шляпах, бежали скороходы и, задыхаясь, кричали:

– Па-ди!

Пошли главные улицы, и один дом был страннее другого. Стоял по Неглинной китайский дворец, зеленый и золотой, как павлин. Драконы разевали пасти на прохожих москвичей, а в спокойных нишах стояли желторожие болваны под зонтиками – мандарины. Роскошь, сон и прохлада были в мутных стеклах дома, в котором, казалось, никто не жил. Но медленно, с московским хрипом, открылись ворота – старик Демидов отправился на прогулку.

Он пошел по Тверской.

Насупив брови, проехал мимо князь Шаликов, его не заметивший, – в кондитерскую. А вскоре он увидел: с беззаботной улыбкой, закатив бледно-голубые глаза, еще не старый, хоть и обрюзгший, семенил по улице его отец и смотрел, щурясь, в лорнет на проезжавшую старуху. На коленях у старухи была москья; Сергей Львович поклонился ей, и старуха остановила свой дормез. Быстрее молнии Александр свернул в переулок.

Через месяц был назначен его отъезд. Он уезжал с дядей Васильем Львовичем в Петербург.

2

Была весна, время птичьих прилетов. В кустах на бульваре и на деревьях в садике появились задорные пискливые птицы, имени которых Василий Львович как горожанин не знал. Соловья он дважды слышал у графа Салтыкова под Москвой, и его болтливые трели нравились Василию Львовичу так же, как и подражанье соловью: у Позднякова на балах дворовый, скрытый в тени померанцевых дерев, щелкал соловьем.

Птицы прилетели, и Василий Львович собрался в Петербург.

Он написал петербургским друзьям, и на Мойке у Демута сняли для него удобные номера, не очень дорогие. В Петербурге Василий Львович намеревался прожить несколько месяцев, побывать в свете, обновить дружеские связи с Дмитриевым, которые начали уж угасать, – и, наконец, определить племянника в пансион к иезуитам. Дел было много.

Приближалось время отъезда. Уже на почтовом дворе справлялись от Василья Львовича об удобной коляске для бар и телеге для поклажи и людей.

Сергей Львович вострепнулся. Отъезд сына приближался; между тем, как нарочно, случилась история с старым арапом. Пришлось откупаться, чтоб заткнуть временно плотку жадному африканцу, которого отныне Марья Алексеевна звала не иначе как злодей. А сколько дано приказным! Сергей Львович лишний раз убедился в черствости и корыстолюбии приказного племени, которое всегда ненавидел.

Как бы то ни было, пересчитав свою казну, Сергей Львович нашел ее поредевшей. Решено пойти на жертву: не был сшит превосходный зеленый с искрой фрак, с высоким лифом, который Сергей Львович собирался шить к лету; была уже выбрана модная картинка, и Сергей Львович уже воображал себя облеченным во фрак: оставалось только сунуть в петлицу цветок. Подумывали о том, чтоб продать Грушку, которая разленилась и вообще стала не нужна в доме. Родители скопидомничали; обеды у Пушкиных становились все гаже. Болдинская дань не помогала. Стоял июнь месяц. В один день Сергей Львович круто все изменил: заложил болдинские души, разбогател и успокоился; тотчас фрак был заказан. Александр мог воспитываться у иезуитов.

Между тем, раздобывшись деньгами, Сергей Львович, как всегда бывало, занесся. Сам черт был ему не брат. Он с загадочным выражением поглядывал иногда на Надежду Осиповну, и Надежда Осиповна холодела от страха: предприятия Сергея Львовича всегда казались ей сомнительны и даже опасны. В один из таких дней он прочел постановление об открытии в Царском Селе лицея и взволновался. Он неясно представлял себе, что такое лицей, но внезапная мысль пришла ему в голову. Он поговорил с приятелями. Ходил слух, что в заведении будут воспитываться великие князья.

Случай, который управлял жизнью и давал неожиданное счастье в два предыдущие царствования, снова представлялся. Молодой человек мог стать товарищем игр будущего кесаря или, гуляя, случайно повстречать в роще императора с императрицей; так или иначе, судьба его решилась. Вспоминали всем известные анекдоты прежних царствований. Сергей Львович представлял себе, что Сашка воспитывается в Царском Селе, чуть не во дворце, и понял, что это случай единственный. Иезуиты показались ему уже не так привлекательны. Вместе с тем в глубине души он был почти уверен, что Александра не удастся определить в новое заведение. Честолюбие его было сильно занято. Он трепетал. Тайком от жены он решился попытать счастья. Чин и вес его были недостаточны, прошений, он понимал, будет подано много, и боялся отказа. Таясь от Надежды Осиповны, он послал прошение о принятии сына его в новое учреждение. Труся, он решил не сдаваться: либо коллеж, либо Царское Село. Прошение было хорошо написано, но этого одного было мало.

Самая справка о древности его рода нелегко ему далась. Пришлось прибегнуть к сильной защите Ивана Ивановича Дмитриева. Нужно свидетельство было прислано. Представительство поэта, однако, убедило еще раз Сергея Львовича, что поэт и министр был педант. Подписи министра юстиции Дмитриева и графа Салтыкова значились под свидетельством незначащим и даже двусмысленным. Вельможи свидетельствовали, что недоросль Александр Пушкин есть действительно законный сын служащего в комиссариатском штате 7-го класса Сергея Львовича Пушкина. Подобное свидетельство, без всякого сомнения, могло быть добыто по приходской записи.

Старинное слово «недоросль», осмеянное еще Фонвизиним и примененное к его сыну, не только обидело, но и несколько испугало Сергея Львовича.

— Законный или нет в собственном смысле, это вас, сударь, не касается, — прошептал он. Однако подписи и титулы министра говорили за себя.

Скрепя сердце Сергей Львович открыл свои планы брату Василью Львовичу, предоставив ему выбирать между иезуитами и лицеем, да написал короткое, чрезвычайно любезное письмо Александру Ивановичу Тургеневу. Самому Александру отец раза два туманно

говорил о Царском Селе, в котором открывается лицей, но сразу же уклонялся в описания природы и умолкал.

Иезуиты были вернее, все у них менее официально, а впрочем, и они не верны. Все должен был решить Василий Львович на месте. Как старый игрок, Сергей Львович верил в удачу, и вместе самолюбие его было заранее узвлено.

Он с легкой досадой смотрел теперь на сына – стоил ли сын таких попечений, забот? Это был сын первой страсти – и вот рос бесчувственным. Иногда по вечерам он подробно, с житейской мудростью человека, много видевшего, давал сыну наставления. Постепенно он до тонкостей и мелочей вспомнил Петербург, Невский проспект, гвардейскую молодость, потерянную карьеру, и ему самому вдруг смерть захотелось туда, на место несмышленного юнца. Что Сашка найдет в Петербурге? Зачем ему, в самом деле, понадобился Петербург? Мог бы отлично воспитываться и в Москве. Скольких трудов стоит ему воспитание детей!

Было, однако же, поздно менять.

Со вздохом и горечью давал он сыну наставления:

– Саек в Гостином дворе и пирожков отнюдь не покупай. Тебя обступят купцы и станут кричать: «Саек, саек горячих!» Эти сайки – яд, и я однажды чуть не умер от них.

– На Невском проспекте, помни, ты можешь встретить государя, он, говорят, нынче каждый день гуляет по Невскому проспекту. Завидя его, ты должен стать вот так и поклониться вот так.

Сергей Львович учил Сашку кланяться и оставался недоволен.

– Так, а не так!

Он побывал в герольдии: и там толстяк Сонцев выдал свидетельство Александру в том, что он происходит из древнего дворянского рода Пушкиных, коего герб внесен в общий гербовник. Судьба Александра была устроена. Сергей Львович сделал для сына все, что мог, и временно забыл о нем.

Во всем этом и сестрицы – Анна, а за нею и Лизета – принимали участие. Анна Львовна недаром читала «Утренник прекрасного пола», который был ее настольной книгой. Он был очень удобен: в конце книжки шли чистые разграфленные листы – одна графа для визитов и посещений, балов, другая – для записи карт, выигрыша и проигрыша, а третья – самая большая – для записи анекдотов и острых слов. Анна Львовна довольно регулярно вела эти записи. В анекдоты она помещала все сведения о женской неверности по Москве, а в отдел острых слов – изречения своих братьев. Первый отдел книжки «Славные женщины» – был любимым ее чтением. Ужасные нравы Поппеи, Фульвии и Клеопатры были ей знакомы. Цезония, или Милония, которую наглец Калигула показывал приближенным в виде Венеры, нагою и увенчанной розами, – всегда вызывала ее сожаление. Но тут же был помещен обзор героинь более тихого нрава, и среди них императрица Катерина I, пожертвовавшая для выкупа своего супруга из плена от турков все свои украшения. Анна Львовна стремилась играть в среде родных именно такую роль, роль спасительницы.

3

Прошел май, прошел июнь, а Василий Львович все никак не мог тронуться в путь. Сергей Львович боялся напомнить ему – неравно раздумал. Александр томился и часто просыпался среди ночи в холодном поту. Француз, желая блеснуть познаниями питомца, морил его вокабулами и правилами арифметическими. Александр был рассеян и дик. Время шло медленно.

Наконец, когда уже кончился июль, Василий Львович объявил, что едет. Был назначен день отъезда.

В этот день Арина встала пораньше; все было давно починено, заштопано, уложено. Учебные книжки, которые брал с собою Александр Сергеевич, она разложила поровней, чтоб не развалились при тряске; на окне нашла она забытый томик и, подумав, тоже сунула его в чемодан. Томик был – мадригалы Вольтера. Потом осторожно сняла с полок Сергея Львовича самые малые книжечки в кожаных переплетах – Александр Сергеевич ими более всего занимался, да и книжечки были махонькие. Сергей Львович давным-давно не подходил к полкам. Она уложила тихонько в чемодан и эти книжечки, числом не меньше двадцати.

– Кому здесь нужно, – проворчала она сурово, но не без робости.

Книжки были самого веселого свойства: Пирон, Грекур, Грессе, новейшие анекдоты. Александр Сергеевич, читая их, всегда посмеивался.

– Все веселее будет, – решила она. Ей не сиделось. Сбегала на кухню, где жарили телятину на дорогу; еще раз почистила платье.

Больше делать было нечего, и она пригорюнилась. Заглянула тихонько в дверь: Александр Сергеевич спал спокойно и ровно. Такая беспечность поразила ее.

– Молод, совсем дите еще, – сказала она Никите, – на кого посылают-то.

Никита не любил с нею разговаривать, почитая женщин вообще бестолковыми.

– Для образования, – сказал он неохотно.

– Для образования, – повторила с сердцем Арина, – у чужих людей! Плох был мусье, что ли?

Монфор как воспитатель произвел на Арину самое отрадное впечатление.

Никита не счел нужным ей возражать.

– Всякий обидит, – сказала Арина и поднесла передник к глазам.

– Мусье не обижает, – ровно возразил Никита.

Дворян терпеть не могла Руссло.

– Всё дома, – сказала Арина.

Никита махнул рукой и пошел.

Было жаркое утро, солнце припекало. Мать, отец, тетки сидели чинные, притихшие и смотрели на отъезжающего косвенным, посторонним взглядом. Арина стояла бледная, ни кровинки. На пороге она перекрестила его и пошептала – он не расслышал. Сердце его сжалось.

Уезжали они по Тверской дороге.

Провожали их до самой заставы.

Василий Львович, осмотрев коляску, остался недоволен и разбранил смотрителя. Таково было обыкновение всех путешественников.

В самый миг расставанья Анна Львовна, смотря не на племянника, а на братьев, вручила Сашке запечатанный конверт.

– Здесь сто рублей, это тебе на орехи, – сказала она значительно, – смотри не оброни.

Сергей Львович всплеснул руками и нежно попенял сестре. Она расточительна. Василий Львович был заметно удивлен. Он сказал, что берет деньги на сбережение; взял конверт, который Александр держал в руках, не зная, что с ним делать, и положил в карман.

Анна Львовна осталась довольна впечатлением, произведенным на братьев. Сашка поблагодарил, но, казалось, не был тронут или поражен. Ничего другого, впрочем, она от него и не ожидала.

Ямщик уселся, колокольцы залились, и он уехал.

На повороте Василий Львович обратил на него важный взгляд свой – юный птенец впервые покидал отеческих пенатов. И обомлел: глаза юнца горели, рот был полуоткрыт со странным выражением, которого Василий Львович не мог понять; ему показалось, что юнец смеется.

Часть вторая Лицей

Глава первая

1

День министра кончался.

Сегодня он не ездил ни в Государственный совет, ни во дворец к государю. После обеда были у него посетители; последний посетитель, незаметный чиновник секретной экспедиции, передал ему молча пакет и удалился. Этот посетитель обычно не задерживался.

Немец-секретарь, бесшумно заглядывая в дверь, видел громадную сутулую спину министра. Он писал, неподвижно сидя, и по спине секретарь знал – к кому: к государю. Так шло час и два. Без остановок и промедления, как машина, исписывал он ровным круглым почерком лист за листом. Тишина стояла в доме: он требовал тишины абсолютной, нерушимой. Большие английские часы методически ходили. В мягких туфлях сердито передвигалась по дому старая хозяйка, мистрис Стифенс. Десять лет назад, когда он был экспедитором, незначительным чиновником, умерла после родов его жена-англичанка. Не взглянув на ребенка, он ушел из дому и пропадал две недели. Он не был на погребении жены, и все считали его погибшим. Вернулся он домой в виде истерзанного, мокрый и грязный. Глаза его блуждали. Из всех живых существ он замечал только свою дочь. Он молчал с месяц, а потом стал ходить в должность. Он никогда не заходил в комнату покойной. Сердце его было разбито, и жизнь, казалось, кончена. В действительности она только начиналась.

Теперь ему было сорок лет, он был министр и государственный секретарь. На деле все государство, за исключением дел военных, лежало на нем. Власть его была обширна, и границы ее стали теряться. У него было много врагов: его кляло дворянство, проклинали чиновники, боялись и ненавидели придворные. Он жил теперь на Сергиевской улице, в небольшом двухэтажном доме, куда переехал после смерти жены. Дом был уютный, с английскою мебелью. Кабинет наверху невелик; тут же на кожаном диване он и спал. Окна кабинета выходили на пустой замерзший Таврический сад; приземистый дворец Потемкина, уже четверть века необитаемый, с заколоченными окнами, виднелся из-за деревьев. Только иногда, в именины Александра, Константина, Елизаветы, дворец вдруг оживал и далеко светился. Все дорожки бывали тогда в саду расчищены, по саду снова гуляли нарядные люди, посматривая на Сергиевскую улицу с разнообразными чувствами. Потом именины, дни тезоименитств кончались, окна надолго заколачивались; снег заносил дворец Потемкина, как пустой театр, в котором представление кончилось, а бродячая труппа уехала.

Он жил в стороне от света, вдалеке от движения и никого не принимал. Изредка посещали министра ближайшие приятели: горнозаводчик Лазарев, откупщик Перетц. Лазарев был предприимчивый и сильный армянин, осевший со всем своим родом и близкими в Москве, в переулке, оттого назвавшемся Армянским. В последнее время он был занят мыслью об устройстве обширного восточного училища для своих соотечественников и часто советовался с министром. Перетц был столь изворотлив и смел по финансовой части, что часто забавлял министра неожиданными мыслями.

Наконец он перестал писать и разом встал.

Он был высок ростом, с длинными руками, ширококостый. Лицо его было белое, лоб покатый, а глаза полузакрытые, китайские. Он бережно сравнивал листы, запер их в секретер и, позвонив в колокольчик, велел позвать к себе секретаря.

Франц Иваныч, личный секретарь, явился.

– Илличевский прибыл?

– Два дня как приехал и сегодня просился принять. Завтра, как слышно, уезжает.

– Илличевского бы сегодня не нужно.

– Невозможно отменить, не обидев.

– Франц Иваныч, милый друг, – сказал министр, – распорядись вином; мне нужен портвейн добрый, но обыкновенный. В прошлый раз прислал Бергин портвейн чрезвычайный. Такого не требуется. Он невкусен. А шато-марго всем надоело. Я не знаю, для чего он стал слишком разборчив.

Министр улыбнулся. Улыбка его была влажная: десны с крепкими желтыми зубами обнажились.

Сегодня вечером он ждал гостей. Илличевский, однокашник его по семинарии, был назначен томским губернатором и отправлялся к месту служения.

Министр положил громадную руку на листы.

– Подумайте и изберите другого докладчика, со штилем несколько грамотным; посмотрите, что пришлось сделать с сим.

Длинные узкие листы были согнуты пополам; написанное писарскою рукою до сгиба было все, по строкам, ровно зачеркнуто, а рядом – на другой половине листа – все написано самим министром.

– Ищем год и найти не можем. Не о штиле приходится думать, но о простой связи.

– Экие чудачки, – сказал министр с сожалением.

– Я покорно прошу вас переменить ваших людей, – сказал вдруг Франц Иваныч потише.

Оба помолчали.

– Говорите, – сказал министр другим голосом.

– Достоверно, что Лаврентий сулил вчера графа Кочубея камердинеру сто рублей, чтобы узнать, куда граф ездит по вечерам. Он шпион.

Министр и секретарь опять замолчали.

– Я с охотою отпустил бы, – сказал министр скучным голосом, – но кем заменить? Нет верного человека.

Он опять остался один; наступил час самый важный – час корреспонденции.

Он достал пакет, который давеча принес экспедитор, и стал просматривать. Это были копии перлюстрированных писем, для него одного снятые. Вести были дурные. Французскому эмигранту писали из Австрии о войне как о деле решенном и так, как будто она уже шла. Письмо из Твери подтверждало все, что было ему известно, – царю вручен еще один «воплъ», объемистый, и на сей раз действие ожидается верное.

Великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра императора, живя в Твери, стремилась руководить братом и передавала ему записки от угнетаемого дворянства, которые министр называл воплями и к которым привык. Автором последнего вопля назывался в письме Карамзин. Он бросил листок в камин. Взяв щипцы, он смешал пепел. Кроме имени Карамзина, ничего нового для него в письмах не было. Карамзин был враг страшный. Он однажды сумел от него оградиться: Карамзин не был назначен министром просвещения только по его настоянию. Впрочем, Разумовский был не лучше его. Война же была еще не решена, и это он знал лучше, чем автор письма.

Он посидел перед камином, посматривая на пламя, щипцами мешая и уравнивая уголья и наблюдая постепенное превращение их в прах. Войну он ненавидел как беспорядок и

случайность, последствия которых не мог предусмотреть. Война путала все планы и нарушала размеры. Он был человек статский: произойди война, и система его – уголь и прах. Война предстояла решительная, и он не сомневался в поражении и гибели всего. Но он давно решил, что в политике, как в жизни, нельзя и, главное, не нужно обо всем сразу думать и все додумывать до конца. Это было правило, им самим установленное и которому он заставлял себя подчиняться, как школьник.

Он вдруг перестал думать о войне, которая уже с год грозила государству, как будто опасности вовсе не было. Но Карамзин, Карамзин был страшнее всего. И это надлежало обдумать сегодня же и нимало не медля.

Он взял с полки «Дон-Кихота» и, раскрыв наугад, стал читать. Как всегда, любимая книга его успокоила. Дружба толстого Панса с сухопарым дворянином была самой высокой поэзией, какую он знал. Одиночество исчезло, все приняло опять вид прочный и удобообозримый. Почитав с полчаса, он отложил книгу и своим ровным круглым почерком написал на листке: «Об особенном лице. *Все состояния*».

Дело было новое и важности чрезвычайной: о воспитании великих князей, из которых один был, возможно, наследник престола. Оно было поручено ему как бы вскользь, среди других важных разговоров, в прошлое свиданье самим императором и так, как умел делать император: словно это не было поручение, а только ни к чему не обязывающий вопрос с его стороны.

2

Было замечено, что в последний год император вдруг несколько раз начинал говорить о своих братьях. Братских чувств у него не было. Со времени смерти отца его вскоре исполнилось десять лет, и за это время он видел братьев всего два раза. Они были всецело на попечении матери и жили теперь то в Гатчине, то в Павловске, занимаясь военными играми. В Гатчину же он не ездил. Он, может быть, иначе относился бы к ним, если бы как-то раз, заговорив о них с матерью, не заметил на ее лице хорошо знакомого выражения: страха и гадливости. Он прекратил разговор.

Собственная вежливость угнетала его. С детства он был перед всеми виноват. Перед императрицею за то, что при ней ласкался к отцу, чего не делать не мог, потому что боялся отца более всего на свете, и перед отцом – сначала без вины, а потом и в действительности. Он знал о заговоре, стало быть участвовал в убийстве отца; короче, был отцеубийцею. Теперь он уже десятый год нес свою вину перед матерью, которая молча считала себя естественною наследницею убитого, а сына – преступником, и перед женою. Его женили еще мальчиком. Он относился к жене, холодной и меланхолической баденской принцессе, с легким отвращением. Несмотря на то что жена его уже много лет была русскою императрицею, она все не могла привыкнуть к этому и по-прежнему оставалась баденской принцессой. Со злостью он принуждал себя появляться в ее обществе. Полька Нарышкина была его любовницей. У любимой сестры, Екатерины, которая ни перед чем не останавливалась и необузданностью напоминала брата Константина, он также находил некоторое утешение. Теперь она была выдана замуж и жила в Твери.

У него был сильный голос и бешеный нрав его отца; но он с детства привык владеть собою и улыбаться своему воспитателю, придворным, иностранцам. Потом появилась любовь к чтению, тонкость разговора и, наедине с собою, мечтания. Он часами, привыкнув к улыбке, не сгонял ее с лица и сидел, созерцая и ничего не видя. Видевшие его в такие минуты фрейлины говорили, что у него ангельская улыбка. Глаза его были бледно-голубые, лицо обширное, девически белое, блаженная немая улыбка, пухлые губы. Взгляд его был

рассеянный, с особым, загадочным выражением – он был близорук. Собачий прикус придавал ему выражение капризное, вовсе не противоречившее признанному прозвищу: Ангел.

Подлинная любовь была у него к самому себе: к своей походке, к своему стану, который тяжелел, к белым рукам; придворная жизнь приучила его к тонкому, почти женскому кокетству, к скромному щегольству, еле заметному: он очень любил черные форменные сертуки, оттенявшие белизну его кожи. Теперь он был стареющий щеголь и, как женщина, ревниво следил за появлением морщин; волосы его редели; он сначала носил тупей, но потом белая, сияющая кожа черепа ему понравилась. Вскоре ранние лысины вошли в моду. Походка его была шаткая, потому что ноги были нетверды; но сам он был уверен, что это от его желания казаться и быть легким.

Смолоду отцом он был приучен к фрунту и любил его не только потому, что он своею точностью успокаивал его, но главным образом по отсутствию мыслей во время разводов. Его считали вероломным. И действительно, ему ничего не стоило вдруг нарушить данное обещание и даже поступить

без нужды вопреки и наперекор ему. Это случалось по уклончивости ума: он говорил, обещал, возражал машинально, а думал только спустя некоторое время. За границей, где он впервые понял, что управляет и владеет половиною мира, он слыл непроницаемым. Он любил только иностранные города и иностранцев, потому что там чувствовал себя вполне государем. В России, кроме дворцов, в которых жил или останавливался и из которых некоторые были удобны, кроме городов – по большей части малых и неправильных, он более всего помнил дороги, варварские, ухабистые, грязные, с отвратительным запахом навоза. У поселян был вид звериный. Он ценил внушительность пространств в цифрах верст на карте, которая висела у него в кабинете, да количество жителей: пятьдесят миллионов. Это количество и пространство пугали его, когда он был в России; в Европе же он любил говорить о них, и сам, случалось, пугал.

Чтение, образованность и долгая придворная жизнь среди враждующих бабки и отца развили в нем тонкость, уклончивость мыслей, понимание характеров и умение пользоваться случайностями. Он тонко чувствовал все, что угрожало или было полезно власти. Мало разбираясь в вопросах политических и будучи в центре дел европейских, он сдал государство как бы в аренду Сперанскому. Потребность все время свое посвящать Европе открыла много вопросов, ему ранее неизвестных; всякое приличное правление, или хотевшее им быть и казаться, должно было ими заниматься. Сперанский именно был расположен к этим занятиям по своей странной для попovichа образованности; он был способен мыслить логически и учреждать. У него был дар письмоводства.

Скромность поповского сына, его плавная речь, глубокая почтительность и невиданное трудолюбие были ему приятны, но в последнее время у него было много доказательств противного. Они были представлены врагами Сперанского и в высшей степени правдоподобны. Кроме того, Сперанский был слишком способен. Наполеон подарил ему свой портрет, что было излишнею короткостью и даже оскорбительно, потому что поповский сын был избран и отличен именно за его смиренномудрие. Он скрепил своей подписью два указа Сперанского, направленные против невежеств знати; помня советы друга своей молодости Строганова, он не усомнился подписать и указ об обложении дворянства налогами.

Общий ропот, поднявшийся со всех сторон после указов, о чем Сперанский, впрочем, его предупреждал, вдруг испугал его. Тильзитский мир возмутил дворянство; налоги озлобили. Поляки подбросили ему пасквиль в Вильне, неслыханный по дерзости. Война с Наполеоном приближалась. Он не был храбр; пять последних лет провел он в войнах и никак не мог привыкнуть к виду сражений, крови, трупам и вони бранных полей. Случалось, он плакал во время боев, как женщина. Теперь он не сомневался, что, если война произойдет, русских побьют; тогда его власть неизбежно падет. Он стал сомневаться в преданности госу-

дарственного секретаря; тот мог изменить ему, воспользовавшись войной и желая нового государственного порядка. Дружба его с Наполеоном и преклонение перед ним министра были слишком известны; по всем донесениям было видно, что то и дело он превышал власть. Все это были опасные признаки. За домом Сперанского уже полгода следил Санглен из тайной канцелярии. Император приблизил к себе верного отцовского слугу Аракчеева, простого и необразованного дворянина, не иначе называвшего себя в разговоре, как «верный раб». Его умиляла эта старомодная верность. Говоря со Сперанским, он чувствовал, что говорит, как говорил бы в Европе, и что обо всем, что он подпишет, отзовется с похвалою один из следующих номеров «Монитера». Это была слава, но все это было опасно, утомительно, а для него самого, по его убеждению, ненужно и вредно. Иногда Сперанский удивлял его внезапностью и верностью мнений, и он подозревал, огорчался, завидовал.

Аракчеев не знал французского языка, но знал артиллерийское и фрунтовое искусство – и в последнем они были бескорыстные соперники. Кругом были люди, либо знавшие об убийстве его отца, как он сам, либо принимавшие в нем участие. Аракчеев был единственный верный слуга отца, и дружба с ним оправдывала, снимала грех отцеубийства. Говоря с Аракчеевым, он как бы говорил со старым дядькой, с отцовским слугой и становился моложе.

Скоро исполнялось десять лет со дня убийства его отца и начала его царствования. Его стан и бока отяжелели, живот опустился, и он принужден был носить корсет; лицо его еще более побелело. По рождению своему он был немец, но в путешествиях лицо его утратило характер, как лицо всемирного актера. Только улыбка да бледный жир лица остались немецкие.

Он угрюмо и сосредоточенно смотрел на своих младших братьев. Разговоры в Москве были ему известны. Все поджидали только случая, чтоб заменить его одним из них. Двух дочерей он потерял младенцами. Англичанин лейб-медик вздумал его утешить: император молод, у него еще будут наследники. Он внимательно посмотрел на англичанина и призадумался.

– Нет, друг мой, – сказал он ему, – Бог не любит моих детей.

Де Местр, узнав об этом, говорил, что император не хочет детей, чтобы не иметь преждевременных наследников, каким был он сам.

Братья тревожили его. Он сам знал, что, может быть, это только казалось ему, но смутно чувствовал опасность. Особенно странно было поведение матери в две последние зимы: из близкого Павловска она перебралась с сыновьями в забытую Гатчину; фрейлина Волконская недавно рассказала, что императрица удалила от сыновей всех товарищей, будто бы чрезмерно их развлекавших. Так был удален маленький Бенкендорф, сын ее приятельницы. Император не мог даже знать и следить за людьми, окружавшими их; мать, как тигрица, охраняла своих тигрят. Единственный способ прервать или ослабить эту связь – было перевести их из Гатчины, которой по детским воспоминаниям он боялся, в свой дворец. Он уже и присмотрел для них помещение. Новый флигель дворца, где жили ранее его сестры, пустовал. Сестры выданы замуж и уехали. Должен был быть найден предлог, иначе мать ни за что не согласилась бы. Тут произошло событие, о котором стали говорить кругом и о котором он узнал: великий князь Николай, которому исполнилось уже четырнадцать лет, искушал своего воспитателя Аделунга. Аделунг преподавал ему мораль и латинский язык. Императору рассказали, что великий князь, наскуча моралью, подошел к Аделунгу и, притворно к нему ласкаясь, стал кусать учителя в плечо и больно наступать на ноги. Предлог был найден – воспитание. Дикие нравы братьев были нетерпимы. Он сказал вскользь Сперанскому о желательности нового, *особого* учебного заведения.

3

К приходу гостей министр оделся. Он любил и умел одеваться и смолodu был щеголь. Дымчатый фрак, белые чулки; в моде он подражал англичанам.

Спустясь вниз, на женскую половину, он прошел в гостиную. Комната была просторна, обставлена по стенам и вдоль окон цветами в горшках.

Здесь ничто не напоминало государственного человека. Цветущее чайное деревцо стояло у окна; слабый запах его наполнял комнату. Бюро здесь стояло закрытым уже два года, и в нем был заперт план большого предприятия, о котором министр никому не говорил, решив вполне отдалиться ему, когда освободится от разных мелких дел. То был план романа, философического и нравственного: «Отец семейства». Дела все прибывали, и план ждал своего осуществления; это было сердечной его тайной и надеждой. Втайне считал он себя созданным для деятельности литературной.

Первым пришел Илличевский. С ним министр сидел на одной скамье в Александро-Невской семинарии. Недавно он вспомнил о старом товарище и назначил его губернатором в Томск. Товарищ, вызванный из Полтавы, где читал в семинарии риторику, пришел благодарить его.

Он был высок ростом, в плечах узок, волосом белес, лицом бледен, с хитрыми оловянными глазками. Звали его в семинарии Свеча и по имени – патер Дамианус. Министр не видел его пять лет.

Товарищ, видимо, робел, глазки его поблескивали.

– Отец премилосердый, – сказал он, окая, Сперанскому, хитро и смиренно на него поглядывая, взглядом спрашивая, как с ним держаться.

– Здравствуй, Дамиан, – ответил Сперанский, ответом показывая, что семинарии не забыл и старых товарищей помнит. Оба были лучшими учениками в семинарии; Илличевский считался первым в поэзии и риторике, а Сперанский – в элоквенции и философии. Оба были соперниками по искусству обращения, любезности, вкрадчивости, и обоих старый ректор называл «угри», ибо они, «как угри, ускользают из рук».

Но Илличевского губила жадность. С полуопущенными ресницами он уже все в комнате приметил. Скрамность обстановки, видимо, его удивила. Серебряные канделябры на круглом столе привлекли его внимание. Друг далеко обогнал его в жизни.

– От брата Козьмы и от матушки благополучны ли известия? – спросил он министра. – Как поживают?

– Здоровы, благодарствую, – ответил Сперанский.

Брат Сперанского был уездный иерей, а мать, старушка-просвирня, жила в селе на покое.

Верный своему правилу – рассеивать по империи людей близких для получения сведений, из которых впоследствии могли возникнуть новые важные следствия, министр назначил губернатором в Томск Илличевского, несмотря на его корыстолюбие, и сегодня готовился поговорить об искоренении с его помощью лихоимства в Сибири.

Скоро прибыли два других гостя – старик Самборский с зятем своим Малиновским. Министр встретил старика низким и быстрым поклоном. Старик Самборский был благодетель Сперанского с самого детства. Жену министра с ее матерью именно он вывез из Лондона, где был священником при миссии; потом был он духовником Александра, когда тот был наследником, затем в Венгрии при его сестре; много странствовал и теперь жил на покое, пользуясь влиянием при дворе.

По внешности он ничем не напоминал русского священника, был брит и говорил по-английски. Малиновский, его зять, был худ и прям, застегнут на все пуговицы; розовым

лицом, сединою и ясными глазами напоминал англичанина. Лондон, в котором он долго жил, его любимый город, навсегда на нем отразился. Он вел под руку престарелого тестя.

Сперанский позвонил в колокольчик, подали чай; чай пили по-английски – тут же, за круглым столом. Пришел и Франц Иванович.

Беседа, полуоткровенная-полуделовая, которую министр любил и в которой, как старый ритор и диалектик, был мастером, началась. Самборский знал обо всем, что делалось при дворе. Никогда не задавая прямых вопросов и не добиваясь прямых ответов, Сперанский умел узнать все, что было нужно. Малиновский был зять старика и человек верный, но Илличевский был сегодня лишний. Министр повел беседу. Улыбаясь, он вспомнил, как обыграл его в семинарии Илличевский в карты.

– Но еще гибельнее были для меня ранее суздальские риторы, которые, прибыв к нам, играли в носки. Риторика однажды чуть не повредила мне носа.

Малиновский засмеялся, и Илличевский приободрился.

– Я давно отказался от игры, – сказал Сперанский, – ибо стал замечать, что легко раздражаюсь и делаюсь врагом меня обыгравшего. В моем положении это опасно. Но иногда признаюсь, жалко. Ветхий Адам силен.

И с тою же улыбкою, без всякого перерыва, сказал Самборскому:

– Итак, кажется, быть статскому образованию.

С разных сторон, через разных людей Сперанский добивался, чтобы образование великих князей было статское, а не военное, и они, подав пример дворянству, поступили в университет. Тогда указ об экзаменах, вызвавший столько шума и злобы, стал бы непреложным и неперменным. Самборский знал о его намерениях и сочувствовал им.

Для подготовки в университет великие князья могли бы учиться в каком-либо училище. Это изъяло бы их из придворной сутолоки, сплетен и неустройств и было бы для всех полезно. Особое училище было бы именно таким местом.

Илличевский смиренно сидел. Люди были свои, да несколько высоки для полтавского профессора поэзии. Глазки его светились; он поглаживал в самозабвении пальцами подножие серебряного канделябра. Сперанский заметил и улыбнулся. Он вдруг заговорил о Сибири и о лихоимстве, там вкоренившемся; генерал-губернатор Пестель управлял на расстоянии, сидя в столице, а между тем – чудеса, в один прекрасный день Сибири не окажется на месте, ибо она вся будет разорвана.

– Вот на кого, на Дамиана, надежда. Он упорядочит, сначала в Томске, а потом и...

Илличевский снял руку с канделябра.

– Нет людей, Андрей Афанасьевич, кроме разве малой горсти своих, нет людей, – сказал Сперанский Самборскому. – Старый люд погряз, новые – кто честен, тот бессловесен. В начале бе слово, но чиновник по сию пору у нас двух слов связать не умеет.

Это была любимая беседа и жалоба. Должно было обнять, охватить, осмыслить и упорядочить все системою. Законы должны были быть стройны и строги. Генералы, расширявшие пространство империи, не только не могли создать равновесия, которое есть средоточие управления, но и были врагами его, ибо не умели понять, что такое порядок. Но не было людей, способных к низшей службе, и подавно не было помощников, способных понять его.

– Недостает общего духа, – сказал вдруг Малиновский.

Сперанский с удовольствием на него поглядел. Он знал его мысли.

Он заговорил, круглые китайские глаза были полузакрыты, как будто не видели ничего кругом, покатым лоб разгладился. Он говорил безостановочно, тихо и ровно, и его собеседники как зачарованные смотрели на него. В конце беседы, которая требовала безусловного молчания всех собеседников, непременно возникала у него новая мысль, порядок статей, новое значение или учреждение, не имевшие, впрочем, видимой связи с беседою. Когда-то

в молодости говорил он проповеди, и теперь, как тогда, ему было приятно совершенство, которое он воображал.

Кабинет был привычным местом. Он смотрел на английские часы, и большой маятник, ходивший медленно, по механическим правилам, ему неизвестным, видневшийся в стеклянной дверце, был ему нужен, как и молчаливые собеседники, окружавшие его.

Министр говорил и знал, что его никто не прервет. Он знал силу своей речи и пробовал ее во дворце. Император никогда его не прерывал и к концу беседы казался и был убежденным, согласным на все; стоило министру удалиться, и логика рассыпалась в прах: царь тяготился ею и забывал.

Министр говорил о людях, которые ему нужны; говоря о характерах, он думал об императоре. Нужны люди чувствительные или люди с правилами? Казалось бы, важнее всего доброе сердце. Но кто говорит: человек чувствительный, тот мыслит: человек без правил. Чувствительные люди – это машина, не понимающая своего хода, идущая по слепой привычке, заведенная воспитанием.

Этого не могут понимать читательницы Карамзина.

Тишина была за окном. Это были те места, где двадцать лет назад отдыхал Потемкин во времена своей хандры, когда грыз ногти и бил дорогие вазы. Тишина была кругом – дочка притаилась с ворчливою бабушкой в задних комнатах. Франц Иванович, самый безмолвный привычный собеседник, сидел сбоку. Часы глухо и медленно пробили одиннадцать и помешали министру.

И он кончил быстрее, чем думал: нужен человек, добрый по началам; нужен разум, подчиняющий чувствования и постановляющий им правила. А без того порядка быть не может. Разум должно воспитать так, как воспитывают ныне одни привычки. Привычки воспитывают домашние. Но разума воспитать они не могут. У дворянства дома – разврат, у духовных – невежество.

Глазки Илличевского светились; старый семинарский философ и ритор вспомнил проповеди ректора и диспуты. Погладив узкую бороду, он сказал, как в семинарии:

– Отец премилосердый! Разум есть соображение частей, но целое постичь может лишь добродетель.

– Да, – сказал его бывший товарищ, – да, Дамиан, ты в совершенстве понял меня – *la vertu est un element, peut-etre, le plus rare*,⁵⁸ – и семинарское слово «добродетель» вдруг приняло якобинский вид во французском переводе.

Илличевский пожаловался Сперанскому. У него возрастает сын Олося, преострый и с преизрядным воображением, пишущий гладко, борзо и с правильностью чудесные стихи, но для университета молод, а к семинарии негоден, ибо наклонности имеет статские, не духовные. В Томск его брат – гасить дарование.

Жалоба была как нельзя более кстати.

Сперанский охотно, не медля, ответил:

– Есть здесь отличные французские заведения, английское Колинсово, французов Мюральта, Дебоа, а не хочешь к французам – повремени. Мы найдем, быть может, Дамиан, место и для твоего Олоси.

Томский губернатор стал вскоре прощаться. Простился он со Сперанским, как в былые времена, по-латыни:

– *Pax tecum. Ave.*⁵⁹

⁵⁸ Добродетель – свойство, может быть, редчайшее (фр.).

⁵⁹ Мир с тобою. Прости (лат.).

Старика же Самборского с Малиновским Сперанский задержал. И как только закрылась дверь, тихим голосом он сказал то, о чем по частям думал и что вдруг надумал полностью.

Если отдавать великих князей в университет, следует их подготовить ранее. Дабы их отвлечь от маршировки и дворских привычек и изъять из рук угодников-кавалеров, заведующих их воспитанием, должно для них учредить особое училище, русское; он уже отчасти думал о названии училища и набрел, читая Плутарха, на приличное, кажется, название: лицей или ликей. Это училище князья будут посещать, как и другие ученики. И из этих-то учеников со временем образуются помощники по важным частям службы государственной.

Дело было новое.

Самборский сомневался, захочет ли царь, а главное – какого мнения будет тверская сестра. Малиновский же заинтересовался этим необыкновенно. Лицо его порозовело. Вопрос о нужных людях, новых людях и способе их воспитания последние пять лет занимал его, как многих других. Он был на шесть лет старше Сперанского и, проведя тридцать лет на службе, всегда чутьем чуял новые места и новых людей. Он был основатель Филантропического комитета в Москве и директор Дома трудолюбия. Он и сам был смолоду новым человеком; три года провел в Англии, при миссии, где женился на дочке Самборского. Лондонская жизнь произвела на него глубокое действие. Он сделался на всю жизнь похожим на англичанина; говорил ровно, как они. Но когда умилялся – становилось видно, что из духовных. Он изучал в Англии новое для русского дело – мануфактуры – и убедился в пользе их. Был потом по дипломатическим делам в Турции; знал турецкий язык; переводил с еврейского языка Библию. Но готовил себя к деятельности политической. Живя в Англии, он пришел к твердому убеждению, что русское правление есть деспото-аристократия, или владыко-вельможное, народ в низком состоянии, подавлен суеверием, невежеством, рабством и пьянством. Рабство развращало и рабов и господ, депутаты должны быть собраны, чтобы создать новые законы, навсегда отменить рабство, и общий дух, которого недостает России, возникнет. Только теперь мечты его молодости близились к осуществлению, – если ненасытный Бонапарт не помешает. Была и еще помеха: старые чиновники были все развращены, секретари брали взятки, начальствующие ленивы и роскошны. Нужно было не только нечувствительно переменить чиновников, но и создать новых людей. Откуда же всему взяться в юношах? Отобрать одних достойных не придется – все та же великая беда России: случайность и покровительство. Буде нет случая и покровительства – праведник не попадет, а буде есть – и злодей устроится, вот в чем трудность.

Ни на один его вопрос не было у Сперанского ответа. В самом деле, как и из кого создать новую породу? Но он улыбнулся, как человек, давно уже эти сомнения разрешивший.

Тотчас у министра в руках оказался лист бумаги и карандаш; безмолвный Франц Иванович остро его очинил. И вскоре начертание *особенного лица* составилось. Новое училище должно было носить название древнего лица, вернее – ликея, загородного афинского портика, где Аристотель, гуляя, создавал своих учеников. Новая порода главных людей государства должна была возникнуть в полной разлуке с домашними. Молодые люди брались из разных состояний; их испытывали в нравах и первых познаниях. Они составляли одно общество, без всякого различия в столе и одежде, как древний ликей, преподавание велось на русском языке; в их образе жизни и взаимном обращении наблюдалось совершенное равенство. Так появлялся общий дух, о котором говорил Малиновский. Они никогда не являлись при дворе. Двор хотел бы перенести училище в самый дворец. Но занятия должны протекать в училище. Иначе все расстроилось бы, и дворские, камер-лакейские привычки исказили бы новую породу людей. Воспитанники появлялись при дворе разве в домашнем виде – для вольных, частных игр с князьями. Товарищество без всякой подлости было священо.

Число? Число в обратной пропорции к совершенству, молодых людей всего десять и никак не более пятнадцати. Возраст их был – возраст великих князей Николая и Михаила. Изучив бель-летр,⁶⁰ историю, географию, логику и красноречие, математику, физику и химию, системы отвлеченных понятий, право естественное и народное и науку нравов, постепенно переходя от одного к другому, они своими силами постигали все. Им никто ничего странно не толковал, токмо вопросами возбуждались их способности. Великие же князья, заразясь примером сверстников, делались со временем добродетельны, если и не даровиты. Ибо здесь уж был голос природы, и вдохнуть дарование туда, где его не было, министр не полагал возможным. Судьба будущего государства ими подготавливалась. Младший, в котором замечались черты гнусные, исправлялся. Не было у него вспышек и судорог гнева, какие были у всех братьев – наследство отца, – ни лицемерия и вероломства, как у нынешнего кесаря.

С разумом ясным и открытым, лишённые косных привычек их отцов, выходили из этой школы для служения государству и отечеству молодые люди, умные и прямые, угадывающие его мысли; они окружали его, стареющего. Главные места заполнялись ими.

– А будут ли там телесные наказания? – вдруг осторожно спросил Малиновский.

Практик сказывался в нем, его существенность была любезна Сперанскому.

– Нет, Василий Федорович, – сказал он кратко, – и не ради вольностей дворянских, а потому, что это уничижительно, обидно и на всю жизнь запоминается. Нам счастье повезло: ради великих князей лозу отложим.

Предстояло, однако, главное – выбор учителей.

Где люди, способные быть наставниками этой новой породы? Иностранные холодны, далеки, не поймут. Для чего оставаться вечно в опеке? Найдутся небось и без иностранных: всему должно учить на родном языке. Пусть будет наставником их Малиновский, который стоял сегодня у купели новой породы и нового учреждения. Министр ранее об этом не думал, эта мысль явилась сама собой, внезапно.

– Поговорю о вас с Мартыновым, и все решится.

Малиновский покорно благодарил; молодой Куницын, быть может, более его достоин и подготовлен?

Куницын был тверской семинарист, в судьбе которого Сперанский принимал участие. Уже третий год учился он в Гейдельберге и Геттингене, и успехи его были, по слухам, блистательны. Он изучал там право и философию. Недавно он возвратился.

– Куницын сам по себе.

Было вписано имя Куницына.

Уйдя в покойные кожаные кресла, маленький Самборский сидел неподвижно. Худенький лик его был безмятежен. Он спал.

Часы пробили полночь. Малиновский осторожно вынул из кресла старца, как берут из колыбели младенца; его облекли в большую пушистую шубу и бережно усадили в возок. Министр провожал своего наставника до самых ворот.

Какая-то тень метнулась напротив у Таврического сада и пропала. Вероятно, ночной забулдыга возвращался домой или слонялся грабитель. А быть может, и соглядатай? Но ворота были крепкие, засовы тяжелые.

Он вернулся к себе. Франца Иваныча он услад спать. В соседней комнате спало дорогое ему существо – дочь – с ворчливою, злой бабкой, которую провидение послало ему, чтобы показать пример женского неустройства. Он походил большими неслышными шагами по комнате, по пушистым коврам. Все кругом спало. Он один был в кабинете, один бодрствовал. Постепенно вдохновение прошло. Он прибавил пункт о смотрителе нравов, по одному

⁶⁰ Изящную литературу (от фр. belles-lettres).

для каждых четырех человек. Разврат мог погубить новое учреждение. Смот்рители должны действовать по одному плану и отдавать отчет главному начальнику. Предпочтение ученикам разрешалось оказывать только по успехам, дабы не развелись любимчики и шпионы, как у них в семинарии. Один из таких совсем недавно сидел здесь за столом – Илличевский. Не проворовался бы он в Томске: смолоду Дамиан был жаден. Сына его можно в лицей – пусть будет лучше отца. Главная задача была, чтоб новое учреждение, проект его не попал в руки Разумовского, министра просвещения, злейшего врага. Он решил просить об этом государя откровенно.

Он положил новое начертание в папку дел особенных и стал читать и править листы, которые написал утром, – докладную записку государю. Постепенно лицо его изменилось. На Александра действовала лесть прямая, безусловная, неограниченная, когда собеседник как бы растворялся, таял, не существовал сам по себе. С бледной улыбкой он изменял стиль: вставлял без нужды, но у места обращение к императору: «государь!» и «всемиловитейший государь!» Он называл это комплиментами. Перебеляя рукописи, он любовался своим почерком, простым и ясным. Этому почерку некогда он был обязан своим началом.

Кончив, он вздохнул, хрустнул пальцами и подошел к окну. Глухой и пустынный, лежал меж мертвых деревьев замок Потемкина, московского студента, выгнанного некогда за леность и нехождение в классы, непомерного в дарованиях и пороках.

Он постоял у окна, созерцая.

И вдруг медленно улыбнулся, и десны его обнажились.

– Все я, все я один, князь Григорий, – сказал он еле слышно, улыбаясь, – ты уж не взыщи.

4

Они стояли у окна, и император, прислонив ладонь к уху, как делал, когда хотел казаться внимательным, слушал.

Великие князья будут воспитываться в полном равенстве с детьми всех российских состояний, а по окончании поступят в университет. В осуществление проекта Сперанский предлагал назначить директором Малиновского, человека опытного, и рекомендовал в профессоры молодого ученого геттингенца, лично ему известного, Куницына.

У императора не было еще никакого собственного взгляда на все это, но он прекрасно представил себе изумление и гнев императрицы-матери. Они стояли у окна его кабинета. Его покои в обширном дворце Екатерины были нежного цвета. Он хотел, чтобы все в них казалось скромно, с некоторою томностью, без азиатской пестроты, которую так любила Екатерина. Не было смешения китайских шелков, голландских печей, индийских ваз. Мало золота и только самые нужные вещи. В противность двору Наполеона, чрезмерно пышному, император стремился во всем к простоте линий, к пустым пространствам и голубизне. Он и одевался просто: из всех военных форм он выбрал для себя черный сертук с серебряными пуговицами. Бабка построила для него особый дворец, но он его не любил по некоторым воспоминаниям и предпочитал громадный старый дворец, в котором чувствовал себя моложе.

Ему показалось, что по аллее прошла комендантская дочка, привлекательное существо. Он слушал министра и насвистывал; поглядывая мельком в окно, шурился; он всегда немного преувеличивал свою близорукость, красуясь. Взгляд его стал загадочен. Он был глуховат, и многое из доклада все равно пропустил бы, будь даже не так рассеян сегодня. Мысль отдать братьев в университет и так отдалить их от армии смутно ему понравилась, но вместе показалась абсурдною.

Сперанский в особенности настаивал, чтобы не передавать нового лица в министерство просвещения, потому что учреждение особенное и требует особого попечения и над-

зора. Разумовский и Сперанский были враги. Император обещал не передавать начертаний Разумовскому. Говоря со Сперанским о детях или семье, он всегда чувствовал превосходство и относился к нему снисходительно. Министр говорил о них с каким-то умилением; эта слезливость была теперь в моде. Семейная жизнь Сперанского занимала его, и он имел о ней точные сведения. Министр был вдов, жил в маленьком доме, обожал дочь и проч. Все это было невинно и нравилось Александру, вместе с тем вызывая в нем чувство превосходства. Единственное, что внушало ему некоторое уважение, был слух, что министр близок с сестрою своей покойной жены.

Из окон видна была перспектива старого парка, очень далекая. Комендантская дочка, почти девочка, с розовыми щеками, более так и не показывалась. Он предложил Сперанскому посмотреть новый флигель и вдруг прищурился по-настоящему: ему показалось, что на неподвижном китайском лице его министра бродит улыбка. Он нахмурился и увидел: улыбки нет. На лице Сперанского, как всегда, было неопределенное выражение, которое скорее всего можно было назвать выражением искренности. Камердинер помог императору надеть толстый, на вате, сертук.

Снег уже начинал таять. Львиные морды на стенах дворца разевали пасти – вкус прошлого века, ныне казавшийся нелепым. Часовые, завидя черный царский сертук и рядом шубу министра, беззвучно вытягивались вдоль стен. Он смотрел на часовых и невольно оценивал выправку. Было свежо, он поеживался.

Осмотром флигеля остались довольны. Требовался, однако, ряд перестроек.

Флигель был на виду, надзор за учениками легок, вопрос об образовании братьев решен.

Император неясно представлял себе будущий лицей: товарищи его братьев, сказал он, могут ездить раз или два в неделю в Петербург. Но извозчик от Царского Села до Петербурга стоил двадцать пять рублей. По-видимому, он полагал, что у воспитанников всех состояний есть лошади, или не знал, сколько стоит извозчик. Министр, однако, не возражал. Он никогда не утомлял императора мелкими соображениями.

Между тем во фрейлинском флигеле засустились – показались в окне и пропали в одно мгновение женские головы. Когда царь с министром возвращались, они встретили старуху Волконскую с молоденькой племянницей; обе присели. Он услышал за спиной обычный шепот: «notre ange».⁶¹ Шепот этот он ненавидел, но не знал, что бы стал делать, если бы его не слышал. Он отпустил Сперанского и поднялся к себе. Он собирался пройтись потом по парку. Он искал случайной встречи с комендантом, дочь которого была еще юное создание.

Камер-лакей подал на подносе письмо. Он пробежал его. Письмо было от матери. Она всегда писала о себе в третьем лице, как было принято при старом прусском дворе для лиц подчиненных. Через неделю была годовщина смерти отца. Мать назойливо, который уже раз, напоминала ему, как будто он забыл или мог забыть этот день. Этот день был теперь всегда днем ее торжества и был для него невыносим не только по воспоминаниям. Шла бесконечная служба в Петропавловской крепости. Мать на особом возвышении стояла рядом с могилою отца, а он и все остальные внизу. Это был род спектакля, для него невыносимый, как бы его публичное унижение.

Это напоминание матери было грубо.

Прогулка по парку и встреча с комендантом вдруг стали невозможны. Он побледнел от ярости, большой подбородок задрожал. Слезы были у него явление физическое: они, как град, прыгали на грудь. После этого становилось легче. Но он сдержался и только еще больше побледнел. Камер-лакей стоял и ждал распоряжений.

Он громко дышал. Сиповатым голосом он вдруг спросил, спотыкаясь:

⁶¹ Наш ангел (фр.).

– Опять нюхал табак?

Он больно ущипнул лакея и, грохоча сапогами, которые вдруг стали тяжелы, прошел несколько шагов и повалился в кресло.

Слезы показались.

С него снимали сапоги, корсет распустили, и тяжелый белый живот, освободясь, стал дышать свободнее. Он глядел на его белую поверхность, поросшую золотыми волосками, и постепенно успокоился.

Через пять минут все прошло. Он снова владел собою. Он вызвал Волконского и спокойно отдал разные распоряжения. Потом он передал пакет для министра Разумовского; в пакете было начертание особенного лица. Сперанского должно было проверить. Фраза о «разных состояниях» в начертании лица была дерзка до такой степени, что выглядела разумной.

5

Старый Разумовский, к которому попал проект нового – еще одного! – воспитательного учреждения, вначале не обратил на него никакого внимания. Как раз в это время у него была хандра, которой боялись слуги, дочь и чиновники.

Вызванный в прошлом году из Москвы для исполнения скучной должности министра просвещения, он никого не принимал, будучи занят устройством своих палат и скучая по московскому жилью. В Москве, на Гороховом дворе, были у него построены палаты истинно боярские, из цельных дубовых брусьев; сад был в четыре версты, и в прудах плавала редкая рыба. Он жил среди картин, книг и цветов, изгнав жену, заточив сына в Шлиссельбургскую крепость и не допуская к себе никого, даже родственников, жил в гордости и одиночестве, пугавших хлопотливую Москву. Говорили о жестокости графа.

Сын пастуха, пасшего волов и ставшего вскоре одним из первых вельмож, Разумовский не полагал людьми ни дворовых людей, ни чиновников, ни простых дворян. Он любил цветы. В Горенках, под Москвою, разводил он их в своем саду. Иностранцы-садовники вырастили там новое растение и назвали его Razoumovskia. Это был можжевельник, тонколистный, синеватый, удивительно колючий. Осенью тяжелые красные ягоды поспевали на нем. Родительское чувство граф питал именно к этому растению, носившему его имя, а не к дочери. По обеим сторонам дорожки стояли в оранжерее шеренгой кустики Razoumovskia, нарочно тесно составленные. Они цеплялись колючками за платье гостя. Старик улыбался: это его забавляло. В бытность императора в Москве он ему представился. Александра прельстил французский говор старика – выговор старого маркиза, его усмешка, почти плотоядная, худые руки, игравшие лорнионом, его сутулый зыбкий стан, который казался станом маркиза тому, кто не видал южных певчих. Так Разумовский был назначен министром.

Переехав в Петербург, он строил и перестраивал палаты, купив место и громадный сад по Фонтанке, между Обуховским и Семеновским мостами, и не бывал в здании министерства. Он тосковал по Горенкам, и только устройство новых палат и сада развлекало его. Доступ к нему имел только один человек – граф Жозеф де Местр, посланник несуществующего сардинского короля. С ним старик запирался в своей библиотеке, где не было ни единой русской книги, и часами слушал пылкого француза, иногда тихим голосом прерывая его. Сюда, в библиотеку, подавался старым лакеем черный кофе – старик презирал модный среди выскочек «шоколат»; здесь же стояла в фарфоровом китайском горшке Razoumovskia, его любимица и гордость.

Только через несколько дней он обратил внимание на присланный от императора пакет: начертание особенного лица. Само название *особенный* поразило его. Он вспомнил, что речь идет о молодых великих князьях, и послал за де Местром. Они заперлись. Граф был

еще в хандре; тоска по Горенкам, отсутствие любимых книг, частью еще не перевезенных из Москвы, вид нелюбимого им Петербурга тяготили его. Однако проект лицея внезапно заинтересовал его: он и сам когда-то был воспитан в особой игрушечной «академии» на десятой линии Васильевского острова, которую составляли несколько юношей и которою был сильно занят старый двор, называвший это «академией десятой линии».

Название «лицей» ему понравилось. Оно напоминало ему молодость, так неожиданно пропавшую и сменившуюся сразу старостью. Тогда шумел в Париже лицей – академия для женщин, которой покровительствовали король и граф д'Артуа. Там учили литературе Мармонтель и Лагарп, математике Кондорсе. Дамы, самые прекрасные, назначали там свидания. Переворот все прекратил. Головы доброй части профессоров и слушательниц упали.

Де Местр замолчал, удивленный. Он улыбнулся: граф припоминал парижскую песенку о лицее и тихонько мурлыкал:

La tout le beau sexe s'amuse
Du carre de l'hypothenuse
Et de Newton.⁶²

За это-то он и любил Разумовского. Когда они сидели в его оранжерее или библиотеке, старый порядок Франции продолжался в покоях русского вельможи: не было ни переворота, ни злодея Бонапарта. Он знал сомнительную родословную Разумовского; нужды не было: это был тот же маркиз, по-детски жестокий, ученый и легкомысленный.

Де Местр замурлыкал, напоминая:

Voulez-vous savoir la chimie,
Approfondir l'astronomie?⁶³

Они поговорили. Де Местр был поэт придворных сплетен; они называли людей по кличкам. Нарышкин, жена которого была любовницей императора, был «счастливый супруг». Сперанского француз называл «ваш якобинец», и министр, следуя ему, говорил: «наш якобинец». Постепенно лицо министра почерствело. Самое упоминание о поповиче было ему ненавистно.

– В наружности всех этих семинаристов, – сказал он, – есть нечто древовидное, но они, не правда ли, лишены достоинства деревьев – молчаливости.

Когда де Местр уходил, Razoumovskia вцепилась колючками в его рукав. Они опять засмеялись – француз на этот раз с принуждением: граф де Местр дорожил своим костюмом.

Через две недели проект особого лицея был переработан. К проекту министр приложил начертание Сперанского, ему посланное, краткий свой доклад и обширную записку де Местра, писанную в форме, которою он владел, как никто из новых писателей, – форме дружеских писем.

Император, получив проект, тотчас его прочел. Он любил чтение и был приучен к тонкой словесности; он порицал соблазнительные романы, прочитывая их до доски, а некоторые места, особо недозволительные, перечитывал и отмечал карандашом. Подобно этому его приятно возбуждали некоторые философы. Век обязал его быть вежливым; он говорил о просвещении и добродетели, так же как и многие короли Европы. В манифестах, которые он подписывал, всегда говорилось о русском народе, православном воинстве, добродетели граждан и высоком назначении России. Он подписывал их, не читая. Поэтому философы,

⁶² Здесь прекрасный пол забавляется Квадратом гипотенузы И Ньютоном (фр.).

⁶³ Не желаете ли узнать химию, Углубить знания астрономии? (фр.)

которые опровергали то, о чем в силу своего звания он принужден был твердить, – величие России, любовь ко всему русскому и проч., – были ему приятны.

Де Местр, мысли которого разделял Разумовский, восставал против разума и знаний доказательствами разума, подкрепленными обширными сведениями. Созданы ли русские для знания? Они еще ничем этого не доказали. Римляне были совершенные невежды, у них не было ни великих живописцев, ни ваятелей, ни математики, но они были великие воины. Цицерон называл Архимеда ничтожеством; знание и разум делают человека вообще неспособным к великим предприятиям, презирающим мнения других, критиком властей, нововводителем. Знание для России не нужно, государство разоряется на школы, а они пустуют. Школы – это прекрасные гостиницы в стране, по которой никто не путешествует. Там набивают головы юношам хламом лишних предметов, из которых самое вредное для ума молодого – изложение систем, история отвлеченных понятий.

Французская система есть введение в материализм. Юность должна знать одно: что Бог, создавший человека, в обществе сделал правительство необходимым, а повиновение ему неизбежным. Все прочие учения, пробуждающие рано философические мысли, будучи даже излагаемы людьми благонамеренными, опасны. Роковые следствия этих изучений во Франции известны.

Бесполезна, далее, естественная история. Молодой человек хорошей фамилии согласится лучше сделать три кампании и быть в шести сражениях, нежели изучать химию. Химия – наука пустая. Для России, как страны воинственной, вообще науки не только бесполезны, но и вредны. Они лишают мужества. Лучшие воспитатели – священство, разумеется не русское, полуграмотное. Новые воспитательные учреждения должны быть устроены по образцу иезуитских новициатов; у юношества не должно быть никаких сношений с внешним миром. Они должны жить как бы на острове. Юноши должны быть гибки и послушны. Надзиратели должны следить за ними непрерывно. Закон строгого молчания господствует везде. Ночью ученики спят каждый в отдельной комнате, дабы избежать какого-либо общения. Все двери в дортуар стеклянные. Самый дортуар освещен с обоих концов. Надежный человек ходит по дортуару всю ночь до рассвета и блюдет покой юношей, как блюдут покой больных. Каждые пятнадцать дней выдается для поощрения преуспевшим крестик, похожий на орден Владимира и Анны, но простого металла.

Он листнул записку Разумовского и прочел о цели лица – подготовке юношей из среды знатнейших фамилий для занятий важнейших мест государственных. К проекту было пришито и начертание Сперанского. Первый пункт был о занятии важнейших мест и о юношестве всех состояний. На особом листке были написаны имена Малиновского и Куницына.

С волнением император читал листок, написанный ясным почерком де Местра. Он отчеркнул карандашом особо понравившееся ему место о сне юношей, стеклянных дверях и ночных дежурствах. Галерея во флигеле вполне подходила для этого. Разврата не следовало допускать ни в коем случае. Он питал отвращение к грубой литературе, которою упивался брат Константин, похотывавший и потиравший руки при чтении. Он любил дымку неизвестности, приличие двусмысленности; он перечитывал иногда некоторые законы своего государства, касающиеся проступков противу нравственности: его привлекали не только самые положения, коих касался закон, но и то, что при всех шалостях воображения – это был закон и изучение его было почтено. Умственные сии удовольствия были, по-видимому, доступны только избранным: для этого был груб и простодушен его брат Константин. Место, где говорилось о крестиках, он, улыбаясь, зачеркнул. Француз не знал русских нравов: поднялся бы шум среди всех кавалеров Владимира и Анны, а юнцы стали бы задирать носы, и дисциплина нарушилась бы. Он кончил первые два письма, прошелся по кабинету, вышел в белую залу, вернулся к себе и, для того чтобы продлить наслаждение, отложил чтение. Все

для того же он спустился и стал гулять по парку, заложив руки за спину. Адъютант сопровождал его, но император не пожелал с ним разговаривать. Он только делал отрывистые замечания, на которые молодой человек отвечал почтительно длинными фразами.

– Свежо.

– Да, ваше величество, давно уже следует быть весне, но ее все еще нет.

– Ветрено.

– Да, ваше величество, с самого утра дует сильный ветер, может быть, потеплеет к вечеру.

Он любил эти беспредметные разговоры.

Резко, по-военному повернув, он прервал прогулку. Его дожидался Аракчеев.

Генерал стоял прямо; увидев императора, он потянулся к нему всем корпусом, и, как всегда повелось при встречах, император обнял его. Между ними начался разговор, который оба любили, полный вздохов, внезапных улыбок и значительных умолчаний. Аракчеев смотрел на царя неподвижно, не отрываясь; глаза его были тусклые; увядшее лицо печально. Всегда этого простого, сурового и дельного начальника артиллерии, на которого можно было положиться во всем, угнетала какая-то тайная печаль – не та ли, что иногда вызывала слезы и гнев у него самого? Император находил особую приятность в том, чтобы утешать генерала. Все чаще во время разговоров случались у них перерывы – признак душевной усталости, – когда император подолгу смотрел бессмысленным взглядом. В такие минуты Аракчеев важно молчал, как бы понимая значительность молчания. После перерыва оба улыбались.

Император перевел генералу несколько фраз из записки де Местра. Отзыв француза о математике внезапно встревожил Аракчеева.

– Нет, батюшка, ваше величество, – сказал он вдруг, задумавшись, голосом тонким и носовым, – без геометрии нельзя фортификации учить, а без чертежей артиллерии знать не будешь. Это только статскому не нужно.

Генерал почитал статских людей, главной добродетелью которых было – не мешать и не вредить военным делам и порядку. Он понимал, впрочем, важность создания таких людей.

Зато естественная история и история показались ненужными и генералу.

– О естестве чем мене думаешь, тем спишь спокойнее. А история – уж Бог с ней.

Оба посмеялись.

– Батюшка, ваше величество, – сказал, разнежась, певуче Аракчеев, – я на медные деньги учен, но если молодые люди готовятся к главным местам в государстве, то кого брать? Верный слуга – тот, кто благодетелем сочтет. Беден, да верен, я так разумею.

Император кивнул. Государство со всеми его пространствами, которое в беседах со Сперанским было громоздкою частию Европы, в разговоре с Аракчеевым становилось его большой вотчиной, где были верные и неверные слуги.

– А телесному наказанию полагаю там не быть.

Тут Аракчеев почесал лоб.

– А надо бы, – сказал он лукаво. – Великие князья – отрочата еще, посмотрели бы, как других наказывают, и сами бы лучше стали.

Тут император, не сдаваясь, потряс головою и видимо повеселел.

Вскоре со знанием дела оба занялись выбором мундира для лица. Перебрали цвета, которые бы, не смешиваясь с цветами войск, были бы приятны, и остановились на форме старого татарского Литовского полка, давно отмененной: однобортный кафтан, темно-синий, с красным стоячим воротником и такими же обшлагами. На воротнике по две петлицы: у младших – шитые серебром, у старших – золотом.

Император вычеркнул в проекте Разумовского фразу о знатнейших фамилиях, а в записке Сперанского фразу о всех сословиях и подписал все одним росчерком, без имени, что было знаком прочтения и одобрения.

Образование князей должно было ограничиться лицеем, который сравнен был в правах с университетами. Товарищи избирались из отроков дворянского происхождения. Числом не менее двадцати и не более пятидесяти. Каждому воспитаннику отводилась отдельная комната, под особым номером.

Директором был назначен статский советник Малиновский. Здание лицея приказано спешно ремонтировать.

Ожидалось согласие императрицы-матери.

6

Павловское, где этим летом жила императрица-мать, было, в противоположность Царскому Селу, мало, во всем соразмерно и доступно для взгляда. Таков был вкус его отца, во всем противоположный вкусам бабки.

Император наклонился и подставил щеку под поцелуй обоих братьев. Сухонький, стройный, стянутый в рюмочку в военном мундире, Николай сказал приветствие ломающимся голосом. Император взглянул на него не без удивления: он вырос. Мать, как всегда, встретила его окруженная своим двором, свитой, толпой своих старых немок: старухи Ливен и Бенкендорф были бессменно при ней, как телохранительницы. Она была одета как при отце и держалась на высоких толстых каблуках прямо, как часовой. На голове у нее был ток со страусовым пером, на голой шее ожерелье, а у левого плеча черный бант с белым мальтийским крестиком. Она была в коротком не по возрасту платье с высокой талией; топорщились буфчатые рукавички; толстые руки в лайковых перчатках выше локтя. Она была туго зашнурована и, проговорив приветствие скоро, невнятно и картавя, задохнулась.

Старый двор был враг нового; здесь жили слухами из Царского Села и неясными толками о переменах. Обо всем этом, впрочем, император знал.

Более часу прошло в обычных прогулках по парку, где все напоминало его отца, и незначащих разговорах. Братья, опасливо поглядывавшие, вскоре осмелели. У озера они отделились и стали довольно громко между собою говорить. Шедший рядом с ними воспитатель Ламздорф был дряхлый немец, морщинистым лицом напоминавший статую старухи в Эрмитаже. Они, видимо, не обращали на него никакого внимания. Другой кавалер, Глинка, человек тщедушный, казалось, был умнее и настойчивее.

Мать и старухи беседовали с императором, стараясь его занять, а он прислушивался. Будучи глуховат, он не слышал разговора, а только голоса братьев.

Николай несколько раз прерывал брата в разговоре; голос его был резок; забывшись, он вдруг громко и грубо захохотал. Михаил был, видимо, обижен и говорил плаксиво и собираясь заплакать. Старуха Ливен, вдруг покраснев, побежала вперед и, задыхаясь, резко его оборвала. Император слышал, как она быстро сказала что-то братьям по-немецки, видимо забыв, что этикет требовал французского языка, а они отрывисто и капризно ей ответили.

Братья были невоспитанны и грубы.

Мать шла теми медленными шажками, которыми выступала всегда при жизни отца в официальных случаях.

В некотором отдалении шел камер-паж, неся простой стул с соломенным плетеным сиденьем, — императрица садилась только на него — привычка, которую она сохранила со времени своего царствования: такая безыскусственная простота была тогда в моде. Императрица была тучна и привыкла к соломенному сиденью. У пруда они присели; император на скамейку, императрица на свой стул. Они полюбовались на багровый цвет воды. Солнце зашло. Привыкнув к определенным чувствам, императрица в Павловском всегда любовалась на закаты, восходы, как делала это во времена своего прежнего житья здесь; в Гатчине же,

более напоминавшей ей воинственные и мужественные нравы супруга, она стреляла зайцев, которых выгоняли прямо на нее охотники.

Когда в круглой зале зажгли сальные свечи в высоких жестяных подсвечниках, самая молодая из фрейлин села за клавесин. Камер-пажи прислуживали. Вдруг, не поворачивая головы, она протянула назад, через плечо, руку, и камер-паж положил в нее веер. Так точно делал его отец. Сальные свечи шипели, коптили и брызгали. Император предложил Николаю сыграть с ним на бильярде; это было знаком милости. Бильярд был детский, уменьшенного размера, делан для великих князей, а шары точила сама императрица, умевшая и любившая точить по кости. Старая Ливен, льстя ей, говорила, что в России только двое из царствующей фамилии занимались этим искусством: Петр Великий и она. У императора была слабость, о которой знали оба двора: во всех играх он любил брать верх. Ламздорф наклонился к великому князю, чтобы предупредить об этом. Но Николай в нетерпении и довольно сильно оттолкнул старика.

Игра началась. Николай был меток, а император, как нарочно, терял шар за шаром. Свита следила за ними, и постепенно все притихли. Николай в увлечении бегал вокруг бильярда, целился и громко смеялся, попадая в цель. Щеки его разгорелись, и было видно, что воображение его разыгрывается. Императрица более всего боялась этой наследственной черты: как и отец, он забывался. После одного счастливого рикошета Николай воскликнул:

– Hourra!

У императора сделался принужденный вид. Он вдруг положил кий и прервал игру.

Императрица, привыкшая к этой борьбе честолубий еще при муже, казалось, начала тревожиться. Впрочем, беседа продолжалась. Император спросил Ламздорфа, как учатся братья и на какую тему писано последнее упражнение. Императрица покосилась на воспитателя. Воспитатель ответил, что успехи показывают перемену к лучшему, а последнее упражнение было написано на тему о превосходстве мирного состояния над войною. Император кивнул, одобряя. Он спросил, глядя на присмирившего Николая, что он написал о важном вопросе. Императрица сидела без улыбки, с видимым неудовольствием прислушиваясь и не принимая участия в беседе.

Старик Ламздорф, помолчав, вдруг ответил:

– Ничего.

Император молча посмотрел на него и на брата и вдруг отвернулся, словно никогда не задавал вопроса. Зато императрица, густо покраснев, тотчас выслала всех.

Действительно, великий князь, которому было задано кавалером сочинение на тему, о которой говорил Ламздорф, не написал в тетради ни строки, выказав этим свою отроческую строптивость. Недовольство императора было слишком явное.

Они остались одни.

Не поднимая глаз, император спросил мать, не находит ли она нужными какие-либо изменения в воспитании и образовании ее сыновей. Он обращает ее внимание на открывающееся во дворце императрицы Екатерины особенное заведение под названием лицей, состоящее под его личным покровительством. Директором он хочет назначить Глинку, кавалера, состоящего при братьях. Каково ее мнение о нем? Последняя мысль пришла императору во время прогулки. Все это потому, прибавил он, что случайностей предугадать невозможно, и неизвестно, кому придется впоследствии стать на первую ступень.

Последнюю фразу он прибавил, не веря ей. Вопрос о наследнике он всегда обходил. Брат Константин, который был моложе его всего на два года, был человек неводержанный, но он любил его. Мать же его ненавидела и ласкалась мыслью о том, чтобы наследником престола был назначен Николай. Он знал также, что мать втайне надеется пережить его. Намек о том, что он, возможно, назначит наследником Николая, мог ее убедить. На деле он не собирался этого делать, во всяком случае в близком будущем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.